ЕЛИЗАВЕТА АУЭРБАХ

МАЛЕНЬКИЙ АНСАМБЛЬ

Короткие повести и рассказы

SHOUT
SHARE
IT

- Маленький ансамбль
  -
  - ЕСЛИ БЫ ЗНАТЬ
  - В АВТОБУСЕ ПАХЛО СИРЕНЬЮ
  - ЗАДУШЕВНАЯ ПОДРУГА ВЕРКА, Я И МОЯ ФАНТАЗИЯ
  - О СТАНИСЛАВСКОМ
  - ПАУК
  - СЕРДЦЕ
  - ПОЧТАЛЬОНКА ЛИЗА
  - ИЗ ФРОНТОВОГО ДНЕВНИКА
  - ЛЕМЕШЕВ ИЗ САПЕРНОЙ РОТЫ
  - «СТРЕМИТЕЛЬНЫЙ МАЙОР»
  - ДЕТИ
  - Я ПОМНЮ ВАС, ФРАУ КВИТМАН
  - ТРИ СЕСТРЫ
  - АРТИСТКА
  - ПЯТНАДЦАТЬ ЛЕТ СПУСТЯ
  - ГОЛУБИ
  - «ВИХРИ СНЕЖНЫЕ КРУТЯ»
  - «СТЕПЬ ДА СТЕПЬ КРУГОМ...»
  - ЖЕНЩИНА ВСЕГДА ДОЛЖНА БЫТЬ ЖЕНЩИНОЙ
  - ПАРИЖАНКА
  - С ПРЫЖКОМ ИНТЕРЕСНЕЕ
  - ДОКТОР СОБОЛЕВА

Маленький ансамбль

У писательницы живой интерес к людям, к окружающей их жизни, она умеет остро видеть. Большинство рассказов навеяны воспоминаниями о встречах, часто в них присутствует сам рассказчик, ироничный, любознательный.

Почти все рассказы автобиографичны и расположены в книге по циклам: впечатления детства, воспоминания о войне и "из гастрольных поездок" послевоенного времени.

Ауэрбах Е.Б., 1971, Издательство Советская Россия, Короткие повести и рассказы.

ЕСЛИ БЫ ЗНАТЬ

Я никогда не думала, что буду писать. Я всегда хотела быть актрисой, но однажды после войны я вдруг решила записать свои фронтовые впечатления; получились маленькие рассказы; я стала их читать соседям, знакомым, и мама сказала:

— Может быть, ты здесь найдешь свое призвание.

— Призвание свое я давно нашла,— отвечала я.

— Прости, пожалуйста,— сказала она,— я хотела сказать — признание.

Рассказы писались легко и преимущественно перед топившейся печкой. Я люблю смотреть на огонь. Мама говорила, что это у меня от древних.

Однажды мать, закурив «Север», сказала ледяным голосом:

— Мне не ясно, будут ли твои рассказы доходить до широких масс. Почитай их моим соседям, у меня больше рабочей прослойки.

В субботу, когда все жильцы собрались на кухне, я стала читать. Рассказы понравились. Старенький рабочий, пенсионер Семен Иванович сказал:

— Хорошо! Я с тобой и наплакался, и насмеялся. Ты как чего новенькое напишешь, читай нам, а то потом в писатели выйдешь — забуреешь.

Чертежник Вася, инвалид Отечественной войны, самый неразговорчивый из всех жильцов, после моего чтения стал рассказывать свои фронтовые эпизоды, и долго в этот вечер жильцы не расходились, удивляясь, как Вася может интересно рассказывать.

А утром к маме в дверь постучала Роза Исааковна и сказала, что у нее есть план: надо все отпечатать и отнести в «Огонек», у нее там есть знакомая курьерша, тонкий человек, она знает, как действовать.

Через месяц «тонкая» курьерша сообщила, что мои рассказы в редакции читали, они всем очень понравились. Но о том, чтобы их печатать, вопрос не стоял. Смущенная курьерша сказала, что, вероятно, к печати берут то, что не нравится.

Мама сказала: «Сходи к Ивану Ивановичу,— это наш самый умный знакомый, как он скажет, так и делай».

Иван Иванович прочел мои рассказы и сказал: «Надо посылать в толстые журналы, и не такую дрянь печатают». Я

разослала рассказы по толстым журналам. Один журнал довольно скоро прислал такой ответ: «Уважаемая товарищ Ауэрбах, не без интереса прочли ваши рассказы, но вы не дотягиваете до толстого журнала».

Вечером, глядя, как я пью чай, мама сказала: «Ты, правда, недотягиваешь до толстого журнала. Ты плохо питаешься».

Сам Иван Иванович давал читать мои рассказы двум писателям. Один сказал, что это гарнир без жаркого, а другой пожалел, что я не Книппер-Чехова, потому что в этом случае все давно бы напечатали.

Потом Иван Иванович сказал:

— Пошли рассказы в «Юность». Там редактор Катаев — он любит женщин, он тебя напечатает.

Я послала, довольно скоро мне позвонили по телефону и попросили зайти в редакцию. Я сделала маникюр и пошла. Приветливая редакторша, предварительно спросив, можно ли со мной говорить как с будущим писателем, с карандашом в руках прошлась по всему рассказу, научно доказав, что в нем нет ничего, что дает право называться рассказом. Она говорила это так сердечно, так глубоко заглядывая мне в глаза, что, если бы только она предложила мне принести еще что-нибудь, я принесла бы. Но она не попросила, она вернула мне рассказы и, пожелав много-много здоровья, проводила до порога.

Иван Иванович сказал:

— Пошли рассказы в газеты.

Из одной газеты раздался телефонный звонок и куда-то торопившийся голос сообщил мне, что я сделала грубейшую ошибку, не вложив в конверт сопроводительной записки, а теперь вся редакция ломает голову, что я прислала: рассказ, фельетон или просто новеллу.

Из другой газеты мне сообщили, что по одному рассказу нельзя определить — талантлива я или нет, но что, если я окончу девятимесячные курсы при «Московском комсомольце», вопрос сразу будет ясен.

Иван Иванович сказал:

— Сходи в ВТО, там есть секция чтецов, а в ней человек с бородой, он за тебя схватится руками и ногами.

Человек с бородой, прослушав мои рассказы, сказал:

— С вашими рассказами можно выступать со сцены. Если я буду вашим режиссером, мы сделаем из этого конфетку.

Мне не хотелось читать мои рассказы с помощью режиссера, мне не хотелось делать из них конфетку, больше я в секцию не

пошла, а обратилась за советом к директору ВТО, который очень охотно предложил мне выступить с чтением моих рассказов в Малом зале, а потом устроить обсуждение.

За несколько дней до назначенного вечера я зашла за билетами. Малый зал рассчитан на сто человек. Билетов было напечатано двести, а на обратной стороне каждого человек с бородой ставил штамп: «На два лица». По неопытности я спросила, что будет, если придут все. Человек с бородой загадочно улыбнулся:

— Если на вас...— тут он сделал паузу,— придет двадцать человек, будем считать, что вечер прошел хорошо. Вы — смелая женщина.

Грустная я пошла домой и стала посылать билеты своим знакомым. Друзьям с завода «Красный пролетарий», над которыми шефствует МХАТ, я послала шесть билетов и приписала: «Если вас придет больше, я не обижусь, кажется, будет пустой зал».

Наконец, наступил день концерта. Но начаться вовремя он не мог, так как в зале не хватало стульев, а народ все шел и шел. Человек с бородой пожимал плечами: «Я не знал, что у вас так много родственников».

Начала я читать очень плохо, почему-то все время думая, что в моих рассказах нет ничего, что дает право называться рассказом, что я — гарнир без жаркого, а не Книппер-Чехова.

Потом мой взгляд упал на знакомого рабочего с «Красного пролетария». Весь ряд справа и слева от него занимали краснопролетарцы, сзади тоже они. Они сидели как-то особенно прямо, приподняв головы, чтобы видеть меня всю, сосредоточенные и взволнованные, почти со страхом следили за каждым моим движением. И я поняла: они боялись за меня. Им хотелось, чтобы я выступила хорошо.

И вот теплая волна покатилась на меня из зала, вот она коснулась кончиков моих туфель, обдала меня всю и откатилась назад, смыв с меня страх, скованность и все то, что мешает творчеству...

После концерта мне преподнесли корзину цветов от краснопролетарцев, и началось обсуждение. Некоторые выступавшие очень боялись, что вдруг у меня не простота, а «простотца», а вдруг это не подлинный МХАТ, а «мхатовщина». Другие опасались, что я не прозвучу на широкой аудитории. Третьи считали, что все это так сыро и не отшлифовано, что об этом даже рано говорить, и только краснопролетарцы и чудом попавший на этот вечер полковник в морской форме считали, что это интересно и заслуживает внимания.

Рядом со мной сидела очень полная женщина, которая жарко шептала мне в самое ухо, что она «сейчас расхрабрится и выступит».

Когда человек с бородой сказал, что вечер окончен, она встала на сцену, уронила портфель, наступила сама себе на ногу и почти прокричала:

— Никакой Дмитрий Каминка и Эммануил Журавлев и даже Сурен Качарян так меня не волновали, и Ауэрбах может умирать спокойно.

Если бы она не сказала, что я могу умирать спокойно, мне ее выступление очень понравилось бы.

Так закончилось мое первое выступление как автора и исполнителя.

А потом случилось обыкновенное чудо: мне позвонили из журнала «Театр» и попросили зайти с рассказами. Редактор с холодной фамилией оставил у себя всю мою папку и попросил приносить все, что будет еще…

Идя из редакции по Кузнецкому мосту, я поймала себя на том, что чуть-чуть пританцовываю, что рот у меня не закрывается от улыбки и что, кажется, я уже сочинила еще один рассказ, а потом сочиню еще и еще, и так буду сочинять, пока меня не станут печатать толстые журналы.

Будет ли мне тогда жить так же интересно, как сейчас?

Если бы знать… Если бы знать…

В АВТОБУСЕ ПАХЛО СИРЕНЬЮ

В шестнадцать лет я, безумно влюбленная в своего репетитора по физике, мучительно пыталась сделать вид, что понимаю его объяснения по поводу электромагнитной индукции. Когда он говорил: «Скажите, что вам непонятно?» — мне было очень трудно удержаться, чтоб не сказать ему: «Мне непонятно, почему вы не пригласите меня в кино, почему не замечаете моей хорошенькой кофточки и почему вы, видя, что я ничего не понимаю в физике, не назначите мне дополнительные занятия. Я ведь погибаю, неужели непонятно?!»

Мой репетитор, студент физико-математического факультета, был влюблен только в свою науку, и он не замечал ни весны, ни меня ни милых девушек, с нежностью глядевших на него. А я ненавидела физику и математику и делала все, чтобы отвлечь студента от занятий.

Я читала ему законы Ома, Бойля-Мариотта наизусть, с выражением, как стихотворения в прозе, к его приходу надевала самую хорошенькую кофточку и душилась маминими духами. Но он все выдержал, а я, как ни странно, выдержала переэкзаменовку.

Однажды я, уже ученица театрального училища, шла по Кисловскому переулку с веточкой сирени и встретила своего учителя. К тому времени я уже была влюблена в артиста Жарова. Студент проводил меня до трамвайной остановки, и я, на прощанье подарив ему веточку сирени, сказала с кокетством опытной актрисы:

— Вспоминайте о своей бездарной ученице, хотя бы пока не завянет' эта ветка. — А когда трамвай тронулся, я, высунувшись из окошка, добавила: — И не забудьте, что ветка, опущенная в воду, потеряет в своем весе ровно столько, сколько весит вытесненная ею вода!

Студент рассмеялся, а я уехала.

И прошло немало лет... Отгремела война, и однажды в газете, среди награжденных за особые открытия в области физики, я встретила фамилию своего репетитора. Но его не встречала до вчерашнего дня...

А вчера после концерта я встала в очередь на автобус. Стоявший впереди меня высокий мужчина с устало опущенными плечами и толстым портфелем, обернувшись, посмотрел на меня. Но я не обратила на него внимания. Подошедший автобус, проглотив половину очереди, захлопнул дверцы перед носом

этого человека.

— Я загадал, — сказал он мне, — ежели автобус меня не возьмет, я угадал, кто вы. Мне кажется, что вы — моя первая ученица по физике...

И на радость оставшейся очереди мы решили с ним пройтись пешком.

— А я читала о вас в газете...

— Неужели не забыли мою фамилию? — изумился он. — Хотя я вашу помню.

Удивительно, как мы помнили с ним все, что касалось той весны, и как весело и интересно нам было о ней говорить. Около метро он подвел меня к продавщице сирени.

— Только рубль ветка, только рубль, — бойко выкрикивала женщина.

— А все?

Молодая сторонница частной торговли быстро пересчитала ветки:

— Без ведра — десять рублей.

— Без ведра, — сказал он и протянул мне цветы.

И в автобусе мы не искали с ним тем для разговора. К тому же он оказался театралом.

— Видел на сцене вас. И сразу узнал. Знаете почему? У вас интонации те же... И вы, как тогда, поднимаете правую бровь. И я все вспомнил... и даже кофточку вашу в горошек вспомнил...

На прощанье я уговорила его взять у меня веточку сирени. Прищурившись, будто что-то припоминая, он сказал:

— Поставить ее в воду и не забывать... «Неужели помнит?» — подумала я.

— ...и не забывать о sac, хотя бы пока завянет ветка! И еще... — Он пытливо глядел на меня смеющимися глазами.

— И еще... — добавила я, — ...не забыть, что каждая ветка, опущенная в воду, теряет в своем весе ровно столько, сколько весит вытесненная ею вода!

И мы рассмеялись так громко, что на нас обернулись все пассажиры.

Был май, в автобусе пахло сиренью...

ЗАДУШЕВНАЯ ПОДРУГА ВЕРКА, Я И МОЯ ФАНТАЗИЯ

Я в детстве любила заглядывать в окна домов, рассматривать альбомы с чужими фотографиями и прислушиваться к разговору незнакомых людей. Мелькнувший в окне профиль я дорисую в портрет, из обрывка фразы сочиню монолог, и из выцветшей фотографии на меня взглянет живое лицо.

Я любила книжки с потерянным концом. Мне всегда хотелось «невероятных» событий, наверное, поэтому я очень много врала, у меня даже был такой период, когда я врала без всякого смысла, просто чтоб было интереснее. Например, я стою в луже, мать, увидев это из окна кричит: «Выйди сейчас же из воды». — Я спокойно спрашиваю: «Из какой?» — «Из той, в которой ты стоишь!» Я удивленно поднимаю брови: «Я стою на сухом месте».

Мама выбегала во двор, делала рукой такой жест, который заставлял меня вылететь из этого «сухого» места. Но я на нее не обижалась.

На смену бессмысленному вранью пришло вранье осмысленное. Я поняла, что можно вырезать кукол из картона маминым маникюрными ножницами, рядом положив наши детские, и, заслышав мамины шаги, немедленно брать большие. Мама говорила: «Мне кажется, что ты берешь мои ножницы, они стали совсем тупые». — «В пустыне, — отвечала я,— людям кажется, что они видят вдали моря и реки —это мираж, но это пройдет»...

С возрастом, конечно, бессмысленное вранье прошло совсем, осмысленное — почти совсем, но фантазия росла вместе со мной и делала мою жизнь интересней.

В школе, в которой я училась, было дровяное отопление. Однажды во время большой перемены выяснилось, что большинство ребят не подготовилось к следующему уроку. Стали думать, как быть; я предложила завалить дымоход кирпичами, которых было много во дворе школы, и открыть окна, а был холодный сентябрьский день; учитель войдет, скажет: «Ах, как холодно» и попросит затопить, дым повалит в класс, и все пойдет как по маслу! Мы так и сделали, и учитель сказал: «ах..», и дым повалил в класс, и мы весь урок весело бегали за истопником и уборщицей.

В школе у меня была задушевная подруга Верка, которая так же, как я, обожала «невероятные истории».

Как-то в старших классах готовился литературный вечер, посвященный молодому советскому поэту. Младшие классы на вечер не допускались, но накануне концерта заболели двое исполнителей, а требование к исполнителям было одно — звонкий голос. Звонче, чем у меня и задушевной подруги Верки, голоса не оказалось, так мы стали артистами. Нам дали выучить слова и объяснили, что на сцене нас поставят в шеренгу лицом к публике, и когда мой сосед справа толкнет меня в бок, я в рупор должна буду сказать «труд труби, труд труби, труд труби в трубу», а на слове «в трубу» я должна буду пихнуть задушевную подругу, и она скажет «бей барабан, бей барабан, бей барабан борьбу». Слова мы выучили насмерть, у меня весь дом говорил: «труд труби».

Наступил вечер, раскрылся занавес. Я стала рассматривать публику, и мне очень понравился огромный человек, который сидел как-то боком, выставив ноги в проход. Он был похож на Гулливера, я улыбнулась ему, он улыбнулся мне, и тут я получила сразу два толчка в бок; слова вылетели у меня из головы, будто их никогда и не было.

Ужасная пауза полезла на сцену, потом в зрительный зал, я в отчаянии взглянула на Гулливера и увидела, что он смотрит на меня, усиленно шевеля губами, как бы подсказывая мне слова. «Откуда он их знает?» — подумала я и, тут что-то уловив, все вспомнив, на всю школу закричала: «Пруд пруди, пруд пруди, пруд пруди в трубу». На словах «в трубу» я так толкнула задушевную подругу, что та отлетела в сторону и радостно прокричала: «Бей барабан, бей барабан, бей барабан борьбу».

Я взглянула на Гулливера, он хохотал, чуть не падая со стула. Занавес закрыли под смех и аплодисменты, и тут все на меня набросились, говоря, что я испортила вечер. Учитель литературы тряс меня за плечи, говоря: «Неужели ты не понимаешь, что ты сказала?» Чтоб не огорчить его еще больше, я сказала: «Понимаю». Мне кажется, именно с этого вечера я окончательно решила стать актрисой.

Уже окончив школу, все с той же задушевной подругой Веркой решили мы поехать в воскресенье на дачу к знакомым, и у нас оказалось довольно много всяких покупок. Я предложила свернуть вещи в виде ребенка в детское одеяльце — тогда сядем в трамвай с передней площадки, в поезде — в детский вагон, и все пойдет как по маслу.

В трамвае мне действительно сразу уступили место и милые женщины, стоявшие и сидевшие рядом, стали мне советовать открыть личико ребенка, так как было жарко и душно. Одна тетка даже попробовала отогнуть одеяло. «Оставьте меня в покое, —

сказала я, — у моего ребенка скарлатина, ему неприятно глядеть на свет». Как меня высадили из вагона, не помню, задушевная подруга выпрыгнула на ходу, а из окон трамвая граждане с удивлением глядели, как из моего «заразного ребеночка» на землю сыпались всякие свертки.

Когда, окончив школу, я поступила в театр, задушевная подруга Верка сказала: «Наконец ты найдешь применение своей фантазии, актерам фантазия очень нужна». Но задушевная подруга Верка ошиблась, театр не воспользовался моей фантазией, и тогда я придумала писать рассказы. Теперь я еще жаднее заглядываю в окна домов, рассматриваю альбомы с чужими фотографиями, гляжу на все, во все глаза и слушаю... И жить мне стало еще интереснее...

Мне кажется, что все мои рассказы правдивы и взяты из жизни. Но задушевная подруга Верка, прочтя мой рассказ, обязательно скажет: «Интересно, как было на самом деле?»

О СТАНИСЛАВСКОМ

В нашем клубе руководитель юношеского драмкружка считал, что главное актеру — иметь громкий голос. «Все остальное, — говорил он, — пустяки. Все остальное приложится».

Орали мы на его репетициях безбожно — до хрипоты. А рядом с комнатой, где занимался драмкружок, была мастерская художника. У художника были седые виски, и поэтому мы считали его очень старым. Иногда художник открывал дверь и говорил: «От вашего творчества можно оглохнуть». А наш режиссер отвечал: «Очень хорошо, значит, нас услышат».

Раз я зашла к художнику с просьбой написать нам афишу. Он сказал: «Почему ты на репетициях орешь, как зарезанная, а сейчас говоришь нормально?»

Я опешила.

— Станиславский учит говорить на сцене естественно, как в жизни!

— А наш режиссер считает, что надо говорить как можно громче, — отрезала я.

— А ты знаешь, кто такой Станиславский? — спросил художник.

— Не знаю, — призналась я.

— Ну и молодежь пошла! На сцену идти собираются, в клубах играют — а кто такой Станиславский, не знают.

Он достал из стола портрет.

— Гляди. Ведь это Константин Сергеевич.

— Он ваш дядя? — спросила я.

— Почему дядя? Это основатель Художественного театра — великий режиссер Станиславский. Поняла?

Через несколько дней, заглянув в мастерскую, я сказала:

— Между прочим, Станиславский не только режиссер, а и актер.

— Правильно, — ответил художник, — только это совсем не «между прочим».

Вскоре художник повел свой изокружок в Музей кустарных изделий, и я увязалась с ними.

Когда мы шли по Леонтьевскому переулку (ныне ул. Станиславского), художник сказал, показывая на старый московский особняк:

— Вот тут живет Станиславский, вот окна его спальни. В одной из его комнат есть маленькая сцена, на которой репетируют его ученики...

На нас этот факт произвел огромное впечатление. Вскоре я сообщила художнику, что иду в МХАТ на «Синюю птицу», познакомиться с Художественным театром.

— Давно пора, — сказал он. — А кто автор пьесы «Синяя птица»?

Я молчала.

— Художник? Композитор? Режиссер? А еще артисткой хочешь быть!

И я впервые услышала о писателе Метерлинке, Илье Саце, смысле пьесы «Синяя птица» и многом другом, из чего складывается произведение искусства — спектакль.

Весной, чтобы благополучно окончить школу, мне пришлось бросить драмкружок.

А когда я поступила в Художественный театр, я немедленно отправилась в клуб и, встав на пороге мастерской художника, торжественно провозгласила:

— Артистка МХАТ — Елизавета Ауэрбах.

— Поздравляю, — сказал художник, — но правильнее было бы говорить «актриса», а не артистка.

Я подробно рассказала ему, как нас принимали и кто был в комиссии. Он, вздохнув, сказал:

— Константин Сергеевич уже не экзаменует, он очень болен… жаль, что ты его не видела.

Но этим же летом группу молодежи, поступившую в МХАТ, повели знакомиться с Константином Сергеевичем. От волнения я не помню ни того, кто нас повел к нему, ни того, кто встречал, ни где мы раздевались. Помню только, что в кресле лицом к двери, в которую мы вошли, сидел человек. Сзади него было окно, все освещенное солнцем. От этого седые и, наверное, очень мягкие волосы Станиславского светились, и весь он был в сиянии лучей. Откинув с колен плед, он встал и оказался очень большим. Здороваясь с каждым, он приветливо улыбался. Смотря на его лицо, я поняла, что ни фотографии, ни живопись не в состоянии передать всю духовную красоту человека.

Константин Сергеевич сначала попросил нас почитать то, с чем мы поступали, а потом предложил каждому сделать перед ним этюд «на память физических действий» — то есть работать с несуществующими предметами.

Я придумала зажигать примус, он плохо у меня разгорался, я стала прочищать его иголкой, и, в конце концов, он взорвался. Когда я, испугавшись, отскочила в сторону, Константин Сергеевич рассмеялся.

Осенью этого же года, отдыхая у самого синего моря, я раз сидела на пляже и смотрела, как ветер играл брошенной газетой.

Он кружил ее, долго гнал по песку, не давая ей передохнуть, а потом, окунув в воду, бросил газету прямо к моим ногам, и я увидела черную рамку, из которой, чуть-чуть прищурившись, на меня смотрело дорогое лицо.

ПАУК

У меня есть родной брат, один-единственный старший брат. Мы с ним были еще маленькие, когда наши родители разошлись и, поделив детей, разъехались. Я, как младшая, досталась матери, а брат — отцу, и вскоре отец, взяв сына, уехал во Францию. Первое время брат часто присылал нам письма и фотографии, а потом стал писать все реже и реже, а мать плакала по ночам и говорила:

— Вырастешь большая, выйдешь замуж, если повторишь мою судьбу, не отдавай детей мужу.

Так мы росли врозь, не переставая любить друг друга и надеяться на встречу. Когда началась война во Франции, мы получили от брата письмо, что он сражается в Сопротивлении... Потом началась война у нас, и мы потеряли его след.

Отгремела война, мы ничего не знали о нем. На наши письма ответа не приходило.

Однажды, увидев на стене паука, я, сложив газету, хотела его смахнуть.

— Не трогай, — сказала мать. — Пауки приносят хорошие известия, пусть живет. Тебе-то что?

Я посмеялась, но послушалась, и паук полез дальше плести свою паутину, не подозревая, что его жизнь только что висела на волоске.

На другой день в сквере на лавочке, где я ждала открытия магазина, около меня сидела пожилая женщина в пенсне. Она достала из сумки французский журнал и, сказав: «Господи, как тут хорошо»,— углубилась в чтение. В ее открытой сумке лежала книжка, тоже на французском языке — «Семья Тибо».

«Может, кто-нибудь из ее семьи живет в Париже,— подумала я, может быть, сын, возможно, он знает моего брата, и если спросить ее об этом, она скажет: «Душечка, они же вместе работают!»

В это время с куста, около которого стояла наша скамейка, мне на плечо стал спускаться паук; осторожно потрогав мое плечо лапкой, оттолкнувшись от него, опустился на пикейный воротничок моей соседки.

— На вас сел паук, — сказала я.

— Где? — вскрикнула женщина, зажмурившись. — Я их ужасно боюсь!

Я осторожно зажала паука в кулаке.

— У вас нет сына в Париже?

— Нет... — сказала она,— он в Москве, в университете преподает. Он может вас укусить!

Я разжала кулак. Паук, хромая, пополз.

— Вы верите в пауков? — спросила меня женщина.

— Нет, я верю только в людей.

— А почему вы меня про Париж спросили?

Я рассказала ей про разлуку с братом и надежду на встречу с ним... А она рассказала мне, что у ее сына на факультете есть студент-француз, что свет не без добрых людей, и что, если только брат жив, его можно найти. Мы обменялись телефонами, я написала ей краткие сведения о брате. Вечером, придя домой, я застала мать в отличном настроении.

— Ты, конечно, будешь надо мной смеяться, — сказала мать, — напишешь про меня дурацкий рассказ, но я уверена, что скоро мы получим известие из Франции. Я специально для тебя посадила его в коробку... — И она осторожно приоткрыла крышку «Казбека», из которой на меня сердито смотрел паук.

Прошел месяц. Меня позвали к телефону. Взволнованный старческий голос почти кричал в телефон: «Душенька! Ваш брат нашелся. Ученик моего сына написал о вашем брате родным в Париж, а те дали объявление в русской газете, и ваш брат уже был в редакции; я так за вас рада. Теперь ждите письма ...»

Мы стали ждать... И дождались! И письма, и фотографии! На фото — брат, его жена-француженка. Ее зовут Соланж. И дети. Они нам очень нравятся. Мать находит, что младшая девочка похожа на меня, а старшая — на Жанну д'Арк.

Нет, я по-прежнему не верю в приметы, я верю только в людей, но теперь, когда при мне кто-нибудь хочет раздавить паука, я говорю: «А зачем давить, пусть живет. Вам-то что?»

СЕРДЦЕ

В раннем детстве, разрезав себе палец, я, заплакав, побежала к матери. Она, присев на корточки, подула мне на ранку. Так я узнала, что, если болит, нужно, чтоб подули на ранку, пожалели, и все пройдет.

Потом я несла ей другие свои раны — она не всегда могла мне их залечить, но у нее всегда болело за меня сердце, и мне становилось легче ...

Недавно я сидела в приемной одного учреждения, Люди, ожидавшие своей очереди, сосредоточенно молчали, впиваясь взглядом в выходившего из кабинета, стараясь догадаться ... подули ли ему там на ранку.

Подошла моя очередь, и я перешагнула порог кабинета. За большим письменным столом сидел крупный мужчина со светлыми равнодушными глазами. Выслушав меня, он отказал мне. Не дав совета и не пообещав помочь в будущем, снял телефонную трубку, дав понять, что разговор окончен.

Я вышла в приемную. Меня встретили штыками глаз, и я не смогла пройти через этот вопрошающий строй с непроницаемым выражением лица, а взявшись за ручку двери, я обернулась к ним и, улыбнувшись, сказала: «Желаю и вам удачи!» И все ответили мне улыбкой, кто-то глубоко и облегченно вздохнул.

Я вышла на улицу. Шел снег, его мягкие хлопья одинаково ласково ложились на плечи всех прохожих, на голову задумчивого Пушкина, на корзину живых цветов у его ног. Я шла и думала о человеке с равнодушными глазами — ведь и он был маленьким, и он нуждался в помощи! Зачем он забыл, как хорошо, когда подуют на ранку, помогут или даже только хотят помочь ...

ПОЧТАЛЬОНКА ЛИЗА

Когда началась война и актеров стали посылать с концертами на фронт, я стала мечтать о такой поездке. Фантазия рисовала мне одну картину романтичнее другой: мне представлялось, что мы будем выступать под свист пуль и разрыв снарядов, что после кон¬церта актеры вместе с санитарами будут переносить и забинтовывать раненых... Что меня ранят во время выступления слегка, но я, истекая кровью, не уйду со сцены, что в меня влюбится седеющий командир и, очень может быть, придется попартизанить.

Я была на фронте не один раз, и все было иначе — и проще, и значительнее.

В 1943 году на одном из фронтовых концертов нам сделали сцену с занавесом, который раздвигался на две половины «вручную». Так как у нас не было свободных рук, нам дали в помощь двух бойцов. Один был высокий, черноглазый грузин с тонкой, как у девушки, талией. Он очень нам помогал, пока не влюбился в балерину... и стал все путать: когда нужно было закрывать занавес, он не закрывал, когда мы умоляли его открыть, он задумчиво глядел на балерину и не понимал, чего мы от него хотим, а однажды, когда она танцевала лезгинку, он неожиданно для нас вышел на сцену и стал кричать «асса!». Капитан Ходжаев, который сопровождал нашу бригаду по фронту, страшно возмущался: «Совсем несознательный боец! Скажи, пожалуйста, завтра я выйду на сцену петь «Сулико», ты что, будешь мне подпевать, да?»

Боец серьезно посмотрел на Ходжаева, потом перевел влюбленный взгляд на балерину и сказал: «Нет, я вам подпевать не буду».

Второй боец был невысокого роста, коренастый и немножко нескладный. О таких говорят: неладно скроен, да крепко сшит. Лицо у него было милое, серьезное, с серыми, широко расставлен¬ными глазами. Мне казалось, что эти глаза часто останавливаются на мне.

Ходжаев уже грозил нам с балериной пальцем. У него была какая-то своя норма общения актрис с фронтовиками. Он, например, считал, что актрис после концерта надо немедленно изолировать от зрителей: «Ты понимаешь, улыбнешься ему, поговоришь с ним и... уедешь, а он, понимаешь, будет о тебе думать, он, может быть, грустный будет... Это непатриотично».

— Да вы что, Ходжаев, может быть, считаете, что с женщин

паранджу рано сняли?

— Нет, не рано, но иногда ее надо надевать.

На последнем концерте высокий боец правильно открывал и закрывал занавес, но был такой грустный и так шумно вздыхал, что было слышно в публике, а после концерта он ушел незаметно, ни с кем не простившись. На другое утро в своем концертном чемоданчике балерина обнаружила маленький кинжал с вырезанными на рукоятке ее и его инициалами...

— Вот я вас что-то хочу спросить, сказал мне сероглазый боец, да боюсь.

— Что-нибудь обидное для меня?

— Нет, ничем не обидное, если бы вы были нормальный человек, а как вы — артистка... Вы не с Урала?

— Нет, я коренная москвичка.

— Я сам с Урала, с города Камышлово, деревня Баранниково. Так вот в первый год войны почтальонка у нас была из эвакуированных — в точности вы. С какого боку я на вас не смотрю, все вы получаетесь!

Его своеобразная, уральская, с вопросительной интонацией речь напомнила мне, как в первые месяцы войны, оторвавшись от театра, с годовалым ребенком и матерью я приехала в Свердловск. Оставив своих на вокзале, я поехала в центр в надежде устроиться, обошла театры, комитет по делам искусств и очень скоро поняла, что люди в учреждениях устали говорить: мест нет, свободных единиц нет, прописка не разрешена.

К вечеру я вернулась на вокзал. Мама сообщила мне, что у нас пропал чемодан, а у сына начинается ангина. Я машинально раскрыла записную книжку и на первой же странице увидела фамилию наших близких знакомых, которые уже месяц назад эвакуировались под Свердловск — в город Камышлов, деревню Баранниково. С первым пригородным поездом мы отправились в путь.

Маленькое село встретило нас приветливо. Крестьянка, к которой я постучалась, отдала мне лучшую комнату, не спрашивая прописки и справки о санобработке. Село было самое обыкновенное и какое-то знакомое; казалось, что когда-то мы в нем уже были: широкая дорога посредине с небольшими домиками с обеих сторон, сельпо, сельмаг и маленькая извилистая речушка. Одно нас очень поразило: все домашние животные в селе носили иностранные имена. В стаде не было ни одной коровы Машки, ни одного бычка Васьки или Борьки. Самым модным именем для коров была Элеонора, меньше было Розалий и Эмилий. Бараны все были Генрихи. Не знаю, кто занес в эти дальние уральские села такие чужие замысловатые имена ...

Вскоре моя хозяйка Фина серьезно советовалась со мной:

— Элеонорка отелилась бычком, посоветуй, как назвать? Я стала называть ей имена: Мальчик, Резвый, Буян...

— Да че ты говоришь такое, которое всякий дурак сказать может... Ты дай такое имя, которое никто не давал. Вот в Шарташском колхозе быка назвали Гамлет ...

— Эрик Четырнадцатый, — не моргнув, сказала я. Хозяйка задумалась.

— А можно четырнадцатый откинуть? Он ведь у нас первый, а Эриком-то как хорошо кликать. Вполне для быка приличное имя.

Я быстро привыкла к несложному, но нелегкому крестьянскому труду; научилась рыть картошку, срезать капусту и даже доить коров; не научилась я только запрягать лошадей. Я побаивалась их и избегала этого. Но однажды мне поручили отвезти овощи курсантам.

— Я не умею запрягать, — призналась я.

— Так мы тебе запряжем, — сказал бригадир.

— Но я не умею поворачивать лошадь ни направо, ни налево.

— А ты отсюда по прямой дороге поедешь, и некуда тебе сворачивать, а там уж тебе ее повернут.

Я забралась на воз, взяла в руки вожжи и, робко крикнув «но!», выехала из деревни. На дороге никого не было.

Скоро я заметила, что моя лошадь стала делать какие-то странные движения: она взмахивала головой, вскидывала зад и будто пожимала плечами. Я подумала, что это у нее от переутомления и ослабила вожжи; пройдя еще несколько шагов, кобыла встряхнула головой, у нее упала дуга, потом вся упряжка и, перешагнув через все это, лошадь одна пошла вперед ...

От удивления я забыла, что говорят лошадям, когда хотят их остановить. Я помню, как неестественно, как во сне, прозвучали мои слова: «Куда вы?»

Вдруг на дороге появился старичок, который что-то громко кричал. Сначала мне показалось, что он говорит не на русском языке, потому что я не понимала у него ни одного слова, но, когда он подошел ближе, я поняла, что это была родная речь: он ругался последними словами. Меня он называл не эвакуированная, а «выковорянная». Ругал не зло, не сердясь, ругал и запрягал. Я сидела на возу и ласково улыбалась ему. А он, взглядывая на меня, говорил: «Улыбаешься?..» — и опять объяснял мне, что я из себя представляю.

Я доехала к месту, когда уже смеркалось. Курсанты быстро разгрузили корзины. Я попросила их поставить лошадь «лицом к деревне». И вдруг полил дождь. Ребята посоветовали мне сесть на телегу с ногами и закрыли меня пустыми корзинами, накладывая

их одна на другую. Корзины были плетеные, сквозь прутья я свободно могла видеть дорогу. Затем они стали замаскировывать корзины ветками. В конце концов получилась клумба. Потом подсунули мне под корзину вожжи, и стоявший рядом, невысокого роста курсант изо всех сил вытянул мою лошадь хлыстом. Ее, наверно, никогда не били, она подпрыгнула и понеслась, как сумасшедшая. Только тут я поняла, как близко мое село. Подпрыгивая на телеге под корзинами, я, еле удерживая вожжи, хохотала в голос, вспоминая Гоголя: «И какой же русский не любит быстрой езды!» Я галопом пронеслась по селу и пулей влетела в конюшню. С тех пор никто в колхозе не верил, что я не умею управлять лошадьми. Бывало, что ночью в окно раздавался стук, незнакомый голос кричал:

— Лиза здесь живет?

— Здесь, — отвечала мама испуганно, — а что надо?

— Да-к Ольга Чекалина рожает, а до больницы далеко. Пусть Лиза придет поможет, она же москвичка.

Я начинала одеваться; мама говорила:

— Ты сошла с ума, ведь у тебя театральное образование.

— И незаконченное, — отвечала я.

И все-таки шла. Мне казалось, нельзя не идти, если тебя зовут и верят, что ты поможешь.

Наверное, как все люди, уехавшие в эвакуацию наспех, я не взяла многих нужных вещей и взяла много ненужных. Среди них у меня была бутылка вазелинового масла. Тут я вспомнила об этой бутылке и положила ее в карман.

Я шла к роженице очень медленно и мечтала, чтобы она родила без меня. Мне повезло: когда я вошла в избу, где-то в углу уже попискивал новорожденный, а с кровати на меня глядели утомленные и счастливые глаза матери. Вымыв руки, я спокойно и уверенно смазала малыша в надлежащих местах маслом, отлила масла в пузырек и сказала мамаше, что главное, чтоб ребенок был в чистоте.

Такие случаи стали повторяться. Я шла и на роды, и на ожоги, и просто на ссоры.

Наступила осень. Работа в колхозе прекратилась, и мне предложили должность почтальона. Я с радостью согласилась. Получив огромную брезентовую сумку для писем, я должна была ходить за восемь километров в село Реутинку за почтой, разносить ее по нашей деревне. Теперь я еще ближе узнала баранниковских женщин. Мне часто приходилось читать им письма с фронта, писать ответы. Я всегда вкладывала в конверт фронтовикам чистый лист бумаги. Очень удивляло баранниковских женщин, когда ответ приходил на этом листке.

— Ой-ой, девка, да-к как ты вложишь лист, сразу они и отписывают ответ.

Напротив нас жила высокая сероглазая женщина, лет пятидесяти, Наталья Чекунова. Наталья никогда не просила ни писать, ни читать ей писем, она была грамотная, выписывала газету и журнал «Здоровье». Старший сын ее был на фронте и очень часто писал ей письма, а младший Володя учился в Камышлове. Когда я приносила ей письма, Володя всегда спрашивал меня: «Замерзла?» — и предлагал погреться. За материнские глаза его звали в деревне «сероглазым». При мне Володю взяли в лагеря, а потом на фронт. Потом прекратились письма от старшего сына, и мне пришлось отнести ей похоронную.

Весь день я заставляла себя пойти к ней и не могла. И только вечером, когда у Натальи зажегся свет, я пошла.

Увидев меня на пороге, Наталья не встала навстречу, как обычно. Ее глаза глядели на меня вопросительно и со страхом. Я не могла сказать, что принесла письмо и, молча пройдя избу, положила конверт на стол. Уходя из избы, я услышала не то вздох, не то стон.

На другой день, возвращаясь с почты, я встретила баранниковских доярок и рассказала им про похоронную.

— Ну, да-к это для нее-то не новость, и Наталья небось не удивилась, она тоже знала. Гадалка есть на Урале, слепая Дарьюшка. Так она всем нам давно сказала, у кого живой будет, у кого калека, а кто в плен попадет.

К этому времени Художественный театр уже эвакуировался в Свердловск. Я написала в театр письмо с просьбой прислать мне вызов и получила от заведующего труппой временный отказ. Он писал, чтобы я набралась терпения, раз у меня есть и кров и работа, пока он всех не устроит с жильем. И хотя вопрос упирался в один месяц, я очень расстроилась. Прошла неделя. Вечером я зашла в одну избу, где за деревянным, чисто вымытым столом сидела старушка с черными дырами вместо глаз. Я сразу поняла, что это и есть слепая гадалка Дарьюшка. Вокруг нее тихо сидели женщины. Дарьюшка гадала на бобах. Из какого-то мешочка она высыпала на стол черные сухие бобы, ощупывая, определяла их расположение и тихим, низким голосом рассказывала и прошлое, и настоящее, и будущее.

Одна из женщин попросила погадать мне. Прежде чем раскинуть бобы, гадалка повернула ко мне свое лицо, как бы взглянув на меня. Мне сделалось не по себе. Затем ее старческие пальцы стали быстро бегать по столу, нащупывая бобы.

— На днях тебе радостная дорога будет ... Бумага какая-то

пришла желанная, хорошая ... Дорога на колесах, и паровоз уж свистит, иди складывайся.

Слезы сами потекли у меня из глаз. Почувствовав их на своей руке, Дарьюшка улыбнулась.

— Я же хорошее говорю, что же ты плачешь? А муж твой на фронте, — продолжала она, — жив-здоровехонек, и сколько-то лет война не протянется, ни одной-то на нем царапинки не будет и вернется он жив-здоровехонек, да не к тебе... Какая-то фершалка уведет его...

Я рассмеялась.

— Вот и гадай городским, — вздохнула Дарьюшка, собирая бобы. — Хорошее скажешь — плачет, а плохое — вон как рассмеялась. Вспомнишь еще меня, старую.

На другой день было воскресенье. Я не ходила на почту.

— Лиза, — окликнула меня со двора хозяйка, — чегой-то начальник почты спрашивает, где почтальонка живет, выйди, девка, покажись.

Накинув платок, я вышла на крыльцо.

— Такая вы аккуратная у меня работница, — сказал мне начальник, — а вчера проштрафились.

— Как? — испугалась я.

— Дак как? Почту на Баранникове я вам стопочкой приготовил, вы ее взяли, а лично-то вам телеграмму я к чернильнице приставил, чтобы вы ее первым делом увидели, а вы ее не заметили, а телеграмма срочная, пришлось старику идти к вам. Получай, почтальонка.

И он протянул мне телеграмму — это был вызов из театра.

Через два дня мы навсегда покинули село Баранниково, переехав в Свердловск.

А месяц спустя, возвращаясь из театра с дневного спектакля, я услышала крик:

— Почтальонка!

Я не подумала, что это относится ко мне и продолжала идти.

— Почтальонка! — опять услышала я и обернулась.

На другом конце площади стояли баранниковские молочницы. Я перебежала к ним.

— Ой-ой, девка, стоим мы все гуртом, смотрим: то ли наша почтальонка бежит, то ли которая незнакомка. Тебя ведь без сумки не узнать.

Я пошла их проводить до трамвая, выслушивая баранниковские новости.

— Лиза, а правду нам твоя хозяйка сказывала, что ты артисткой работаешь? — спросила самая молоденькая. — Да-к какая ты артистка-то, которые в длинных платьях поют или

которые уж совсем голые по проводам ходят?

Потом я помогла им уложить бидоны, и мы стали прощаться.

— Ну, Лиза, — сказала, беря мое лицо в руки, тетка Варя, — видим мы, что тебе хорошо; девка, ты уж и не в валенках ходишь, а в которых-то башмачках, видать, ноги-то мерзнут! И шапчонка-то на тебе городская, не как почтальонкой в платке ходила, и глаза веселенькие ... Но знай, девка, гак ли, сяк ли сложится твоя Жизнь, а в селе Баранникове тебя всегда примут и почтальонскую сумку для тебя — с любого сдерем!

Прошло несколько лет. Отгремела война. И МХАТ снова приехал на гастроли в Свердловск. Днем мы выступали на Уралмаше, а потом по цехам. По цехам нас водил пожилой инженер, которого в последнем цехе куда-то отозвали, и он передал свои полномочия конструктору. Невысокого роста, в сером костюме, красиво оттенявшем его начинающие седеть виски и серые, широко расставленные глаза. Мне показалось его лицо знакомым.

И, уже не слушая объяснений, я мучительно вспоминала, откуда я могу его знать. Чтобы лучше разглядеть его, я старалась встать так, чтобы он не видел меня, и заметила, что его серые глаза ищут меня. Значит, и он меня знает ...

Цех был последний. И, так ничего не вспомнив, я села в ожидавший нас автобус к открытому окну. На небольшой площади перед заводом, где стоит чугунный танк, поставленный в честь окончания войны, медленно прогуливается конструктор в сером костюме. Если его глаза поднимаются, то только на мое окно.

— Помогите мне вспомнить, откуда я вас знаю, — сказала я, подойдя к конструктору.

— Короткая же у вас память, — улыбнулся он. — И фронт не вспомнили, и Баранниково не вспомнили? А почтальонка Лиза? Я живу на Уралмаше, — говорит Володя. — У меня есть машина, давайте-ка, съездим к маме в Баранниково. Она там со старшим братом живет.

— Со старшим? — удивилась я.

— Со старшим, Лиза, — военкоматы ошибались — не то что гадалки. Он партизанил, потом в плену был, ранен сильно был.

Но пора было уезжать. Актеры уже сидят в машине. Я сажусь у открытого окна, Володя не уходит. Актеры острят:

— Объясните ей еще раз про плавку, ее всегда интересовала тяжелая индустрия.

— Еще я вас что-то хочу спросить, — говорит Володя, когда водитель уже сел за руль, — да боюсь.

— А что для меня что-нибудь обидное?

— Нет, что вы! Вам гадалка все правильно нагадала?

— Все ...

— Все до капельки?

— Все до капельки. А знаете, Володя, все-таки лучше, что гадалка ошиблась в случае с вашим братом, чем в моем. Ведь страшнее смерти ничего нет.

ИЗ ФРОНТОВОГО ДНЕВНИКА

Однажды мы выступали на аэродроме. Еще не кончился концерт, как появился представитель с соседнего аэродрома с просьбой выступить и у них. Лететь на У-2 минут пять. Мы согласились, но нас очень смущал «костюмный» вопрос. Тут нам достали духовые утюги, и мы привели в порядок все платья. Укладывать их в чемоданы, снова мять было жаль. Тогда летчик предложил проводить нас туда пешком. Идти лесочком 25—30 минут. А вещи «переправят на самолете». Нам понравилось это предложение. Было приятно пройтись в хорошую погоду лесом. Нас сопровождал прилетевший летчик.

Дорога была красивая, с типичными для Молдавии холмами. Мы шли в длинных концертных платьях; для фронтовой обстановки это было, конечно, необычно.

Вдруг послышался тяжелый гул самолетов и показалась шестерка немецких бомбардировщиков. Летчик коротко скомандовал: «Ложись». Я не могла себе представить, что лягу в только что отглаженном платье на землю, и только свернула с тропинки в траву. Сзади себя я услышала голос скрипачки:

— Вы серьезно говорите — ложиться?

— Абсолютно серьезно.

— Вы с ума сошли, капитан,— сказала певица.— Как можно лечь в концертном платье? Конечно, вам хорошо, вы в комбинезоне...

Наши мужчины в отглаженных брюках тоже не собирались укладываться. Все продолжали путь. Бомбардировщики, нагнав нас, стали медленно набирать высоту и скрылись в облаках.

Но вот мы увидели впереди замаскированные самолеты и землянки. Навстречу нам шли летчики и пожилой улыбающийся полковник; он шел с раскрытыми объятьями, как будто встречал своих старых друзей.

— Жаль фотоаппарата нет. Ах, как приятно видеть нарядных людей в штатском. Глядя на вас, не веришь, что рядом передний край.

...Мы выступали на грузовиках, тщательно замаскированных зеленью.

После выступления, уже у самолета, полковник подошел к нам прощаться.

— А вы чего скисли? — сказал полковник летчику, сопровождавшему нас.— Провели в обществе наших гостей столько времени, а выглядите мрачнее тучи.

— Товарищ полковник! Дайте мне любое задание, но только прошу — сопровождать артистов больше не посылайте...

И он рассказал о том, что произошло в лесу.

Лицо полковника вытянулось.

— Знаете, товарищи артисты, нам ведь очень дорога жизнь каждого из вас. И потом, если в ваших светлых, ярких платьях с самолетов вас обнаружили бы, наш аэродром, люди и машины могли стать отличной мишенью для врага...

Нам стало стыдно перед всеми, кто десять минут назад слушал наш концерт.

ЛЕМЕШЕВ ИЗ САПЕРНОЙ РОТЫ

Когда я первый раз поехала на фронт с концертной бригадой, я была счастлива, но немного побаивалась и, укладывая вещи, положила на всякий случай на дно чемодана стерильные бинты и йод.

Через час после вылета с Внуковского аэродрома мы приземлились. Ничто вокруг не напоминало фронт. Не было ни окопов, ни орудий, не было слышно даже отдаленных разрывов.

Нас встретили тщательно выбритые военные, весело помогали нам укладывать вещи в легковые машины, с «ветерком» покатили нас по хорошо вымощенной дороге.

Вскоре мы приехали в маленькую деревушку. В крестьянской избе, куда нас поместили, было чисто и тепло, и стояли уже заправленные по-солдатски койки, а около каждой койки на тумбочках, в банках из-под консервов — полевые цветы.

Весь день к нам приходили военные, и расспрашивали о Москве — о театрах, о кинокартинах, о том, какие вышли книги. И никто не говорил о войне.

Мы стали готовиться к концерту. На узкие койки легли концертные платья, появились зеркала, запахло гримом, духами, раздались звуки настраиваемых музыкальных инструментов. Воцарилась привычная закулисная атмосфера.

Сельская школа, где шел концерт, была тщательно затемнена. Над сценой лозунг: «Советское искусство — фронту». Электричества нет, а вдоль рампы, как в старинном театре, керосиновые лампы. На занавесе из вафельного полотна нашита эмблема Художественного театра — чайка.

Мы все на фронте были первый раз. И понимали, что этот зритель — особенный, зритель, который после концерта не побежит с номерком в раздевалку...

После концерта военные, освещая путь фонариками, провожали нас на ночлег.

Взволнованные этой первой встречей с фронтовиками, мы долго не могли заснуть. Был теплый летний вечер. Окна открыты. Прожекторы медленно, по-хозяйски прощупывали небо. Когда они гасли, звезды казались еще ярче. Пахло акацией. Где-то близко в кустах щелкал соловей. Не верилось, что рядом фронт, что это еще только начало войны и никто не знает, когда она кончится...

На следующее утро нам сообщили, что нас отправляют в 21-ю танковую дивизию. Большой грузовик, обтянутый зеленым брезентом, нас уже ждал. С нами поехали два бойца с автоматами

и капитан Ходжаев.

Я решила, что раз нас едут охранять три человека, значит, там-то и начнется настоящий фронт и надо быть ко всему готовой. Я переложила бинты со дна чемодана наверх, узнала номер полевой почты и написала домой письмо уголочком, чтобы обо мне не беспокоились...

В танковой дивизии все концерты шли на воздухе, а жили мы в землянках и блиндажах.

На вечерних концертах нас освещали фарами от грузовиков.

Перед концертом можно было видеть, как бойцы, сидя около своих землянок, чистили сапоги, пришивали свежие подворотнички или брились, прикрепив к дереву зеркальце. Чтобы мы могли разгладить свои костюмы, нам сделали в саду из досок стол.

Однажды, когда мы после концерта уже готовились ко сну, услышали пение. Пел приятный мужской голос под аккомпанемент какого-то струнного инструмента. Мы вышли из своих землянок на воздух. Стоявший около орудия боец тихо сказал:

— Слушаете? Это наш Лемешев из саперной части. Хотите познакомиться?

Боец скрылся, а через несколько минут к нам подошел высокий молодой лейтенант. В руках он держал инструмент, похожий на цимбалу, только с длинной ручкой — нечто среднее между цимбалой и гитарой. Мы познакомились, боец расстелил на траве шинель, мы сели вокруг него. Он рассказал нам, что эта «бандура» (так он назвал свой инструмент) перешла к нему по наследству от его прадеда, который служил еще в оркестре у орловского помещика. «Таких инструментов почти нет. Историческая ценность».

Мягко, будто лениво, он перебирал струны длинными, загорелыми пальцами.

— Меня в роте Лемешевым прозвали, я уж свою фамилию стал забывать...

Лейтенант любил петь и не заставлял себя просить. У него был лирический тенор, и когда он пел, ничем не замечательное лицо его становилось удивительно привлекательным.

Разошлись мы в ту ночь, уже когда стали меркнуть звезды.

Две недели, что мы были на этом пункте, по вечерам после наших концертов, мы слушали лейтенанта и не могли наслушаться — удивительный у него был голос, я такого никогда не слышала.

В последний вечер он не пришел. Не пришел и утром нас проводить. Мы стали искать его, спрашивали, где он, чтобы

проститься. Но нам сказали, что его нет. Мы просили передать ему наш адрес, но нам сказали, что его нет, нет совсем...

Я заметила, что на фронте не любят говорить «убит». Говорят: его нет...

«СТРЕМИТЕЛЬНЫЙ МАЙОР»

В одну из поездок с концертной бригадой на Ленинградский фронт мы подружились с работниками редакции газеты «Натиск». В свободные минутки в редакции любили играть в литературные игры, в «Слова», в литературную «Угадайку». Играется она так: называется тема, например, любовь, ненависть, страх и т. д. Играющие должны вспомнить несколько строк из более или менее известных произведений, отвечающих этой теме, а один человек отгадывает, из какого произведения эти строки. Играть было очень интересно, пока не приехал с переднего края редактор газеты Алексей Михайлович Стремин, или, как его тут называли «стремительный майор». У меня создалось впечатление, что «стремительный майор» знает все, что когда-либо было напечатано. Во всяком случае, он всегда безошибочно называл и автора, и название произведения, иногда главу.

Меня это бесило. Я мечтала посадить его в калошу. С моим знанием литературы это было дерзко, и я стала жульничать: я придумывала фразы, похожие на известные, настолько похожие, что многие пытались отгадывать. Многие, только не майор. Он откладывал свою очень красивую авторучку, с которой обычно не расставался, и говорил: «Симпатичный, но никогда не печатавшийся автор». Я страдала...

Однажды майор принес в редакцию маленького окровавленного щенка со сломанной лапой. Щенку оказали медицинскую помощь и стали придумывать имя. Но майору ни одно не нравилось.

— Назовите просто Бобкой, — оказала я.

— Бобка так Бобка, — согласился майор.— Если бы он был женского пола, я сам дал бы ему имя, назвал бы ее актриской и научил бы играть в литературные игры.

Перед последним концертом в этой части я забежала в редакцию. Там играли. Тема была «Обман». Почему-то никто ничего не мог придумать. И вдруг я вспомнила стихотворение очень хорошего поэта, которое гак и называлось — «Обман». Я прочла первые две строки. В редакции стало тихо, майор просил прочесть еще раз...

— Нет, — сказала я, — тогда вы догадаетесь.

Но все стали меня упрашивать, убеждая, что все равно майор проиграл. Тогда я прочла еще раз:

Обманите меня...

Но совсем, навсегда...
Чтоб не думать — зачем,
Чтоб не помнить — когда…

Счастливая, я убежала на концерт. Майор пришел ко второму отделению и сел во втором ряду с краю. Он то рассеянно смотрел на сцену, то задумчиво опускал голову. «Мучаешься? — думала я. — Мучайся, мучайся! Я десять дней мучилась».

На прощальном ужине он сидел рядом со мной и был совсем не «стремительный». Он что-то чертил красивой авторучкой по блокноту и рассказывал о себе.

— Знаете, я до войны не успел жениться, вернее, полюбить. Правда, смешно: если меня убьют, так даже никто не вспомнит... Ну, еще несколько строк этого поэта! Мне очень понравился ваш таинственный автор.

— Нет, я не хочу, чтобы вы отгадали...

— Ну, тогда давайте так играть, — оказал майор, — вам ведь очень нравится моя авторучка? Почитайте еще немножко вашего поэта, я не угадаю — и ручка ваша.

Я написала ему на папиросной коробке:
Любить без слез, без сожаленья,
Любить, не веруя в возврат...
Чтоб было каждое мгновенье
Последним в жизни...

Майор задумчиво положил авторучку в мою сумочку.

Мы уезжали после ужина. Лил проливной дождь. Майор без шинели с Бобкой на руках стоял около машины. Когда мы прощались, он, слегка задержав мою руку в своей, сказал, улыбаясь:

Обманите меня...
Но совсем, навсегда...

Глаза у него были грустные.

На первом командном пункте, где проверяли документы, мы встретили машинистку из редакции «Натиск», и я попросила ее вернуть майору красивую авторучку.

Через два месяца перед возвращением в Москву наша бригада последний раз выступала в штабе фронта. Там мне дали конверт. На нем стремительным незнакомым почерком была написана моя фамилия. В конверте лежали авторучка и записка:

«Не дарите честно вами выигранного, — писал майор. — Пишите лучше мне этой ручкой стихи вашего поэта, все, какие

вспомните».

Мы переписывались три года. Потом мои письма стали приходить обратно со штампом: «Адресат выбыл».

После войны я поехала в отпуск в маленькую крымскую деревушку. Вечером, сидя на балконе с местной жительницей, вдовой поэта, стихи которого я читала майору, я слушала ее грустный рассказ об оккупации Крыма.

— А потом пришли наши, — кончила Мария Степановна, — у меня поселились три офицера, и оказалось, что один из них знает тебя. Он увидел у меня на стене твою фотографию. Алексей Михайлович Стремин. Я-то Алешу знала еще мальчиком, он учился в Феодосии и часто приходил к нам. Он очень любил стихи и акварели мужа.

— Он не знал стихов Волошина до меня! — сказала я.

— Он знал их раньше тебя. Ему очень хотелось увидеть твое лицо, когда ты выиграешь, вот он и разыграл тебя.

Она погладила лохматого пса, лежавшего у ее ног.

— Вот оставил мне этого Бобку, сказал, что пес ему очень дорог и после войны он за ним обязательно приедет. Там, в сером томике, он заложил одно стихотворение для тебя и просил его тебе передать, если сам не сумеет этого сделать.

Весь отпуск я провела с Бобкой, я ходила с ним в горы, в Сердоликовую бухту, на могилу Волошина, к жене Грина в Старый Крым.

...Сейчас Бобка уже совсем старый, он почти не встает со своей подстилки. И, когда я приезжаю в Коктебель, хожу на прогулки без него. Оживляется пес, только если в дом войдет военный. Тогда Бобка обязательно встанет и обнюхает его сапоги, а затем, опустив голову и поджав хвост, ляжет на место.

Я люблю войти в мастерскую Волошина, снять с полки томик стихов, открыть заложенную листком, вырванным, может быть, из блокнота майора, страницу и прочесть наизусть:

Сквозь сеть алмазную зазеленел восток.
Вдаль по земле, таинственной и строгой,
Струятся тысячи тропинок и дорог.
О, если б нам чрез мир пройти одной дорогой!

Иногда, когда в комнате никого нет, я говорю:
— Бобка, ты помнишь «стремительного майора»?
Он подойдет и положит мне голову на колени.
Он помнит…

ДЕТИ

Было это в 1942 году. Мы познакомились в одном полку с двумя ребятами: одеты они были во все военное, кроме обуви. Видимо, на такие маленькие ноги сложно было достать сапоги.

Вот что мы узнали об этих двух детях. Когда наши части вошли в это село, в первый же день на полевой кухне появилось двое ребят, мальчик и девочка, истощенные, оборванные, и попросились к повару на работу. Повар накормил их. Вскоре они стали его постоянными посетителями. У девочки мать умерла еще до войны, а отец ушел на фронт, оставив ее родственникам, с которыми она не захотела эвакуироваться и спряталась в лесу, так же как и рыженький мальчик, ее сосед по деревне. Так они остались жить «под немцами», с небольшой группой не уехавших стариков и больных. Вскоре ребята стали как бы детьми этой части. Плохо им не было: в медчасти им вливали глюкозу, поили рыбьим жиром, повар их откармливал, портной перешивал из больших гимнастерок маленькие... Да и каждый в части находил для них ласковое слово и случай побаловать...

Люся определила себя на работу в госпиталь. Она помогала бойцам писать письма домой. Практика у нее была огромная. Одному бойцу, танкисту Алексееву, выразившему сожаление, что у него нет фотокарточки, чтобы отправить жене, она даже предложила нарисовать его портрет...

Алексеев дал согласие, редакция стенгазеты снабдила девочку цветными карандашами, бумагой, и Люся принялась за работу. Алексеев, не моргая, расположился на подушке. В палате стало тихо. Минер Вася засек время.

Через 15 минут портрет был готов, и если можно было спорить о сходстве, то живописен он был бесспорно.

Танкист Алексеев блистал всеми цветами радуги. Щеки, глаза, брови и уши — все было разного цвета, а к подушке, на которой лежала эта живописная голова, Люся пририсовала кружевную накидку, видимо, вспомнив парадную горку подушек, которые в мирное время были у нее дома.

Когда танкист увидел свое изображение, он закрыл лицо руками и беззвучно хохотал, делая вид, что давится кашлем. Послать жене этот портрет он не решился, но чтобы не огорчать девочку, предложил поместить его в госпитальную стенгазету.

Три дня в коридоре около газеты раздавался страшный хохот. Весть о портрете и художнице вышла за пределы медсанбата, и все, кто мог, при случае забегали в госпиталь посмеяться. Люся

гордилась тем, что ее портрет поместили в газете, но ее смущал смех.

Однажды, присев к Алексееву на койку, она долго, внимательно смотрела на его лицо, а потом сказала:

— Совсем у вас, дяденька, не такое смешное лицо. Раненые, заметив, что Люся загрустила, стали наперебой просить нарисовать их. Редакция не успевала снабжать Люсю карандашами и бумагой, девочка работала на совесть. В День танкиста она сделала госпиталю подарок: нарисовала главного врача во весь рост, в одной руке у него была трубка для выслушивания, а другой он держал за плечо маленького бойца с лиловыми глазами. Портрет был помещен в стенную газету и вызвал новый взрыв восторга. Из редакции приезжал фотокорреспондент и сфотографировал стенгазету и художника. Тяжелобольные, которые могли только слышать хохот, попросили вечером пустить портрет по палатам, что и было сделано. На другой день начальник госпиталя сказал сестрам:

— Мне очень нравится Люсино художество, и больные ее любят, но вы должны следить, чтобы ее произведения не попадали в палаты тяжелораненых — вчера у троих швы разошлись от смеха. Ну, на что это похоже?

Мальчик рассказывал, что у него отца нет вообще, а мать, когда пришли немцы, ушла к партизанам, поручив его деду, который вскоре умер. Малыш не любил, когда его жалели.

— Моя мама вернется, — говорил он. — Она молодая, рыжая, она вся в меня, она сама кого хошь застрелит.

В этой части был повар Семен Семенович, уже немолодой человек с удивительно мрачным выражением лица, который хвастал своим одиночеством.

— У меня нет ни жены, ни детей, ни родственников, писем я не пишу, не получаю, не нервничаю — из всех вас я самый счастливый человек.

И вот этот мрачный повар подружился с рыженьким мальчуганом. Разумеется, Рыжику доставались самые сладкие куски. Он стал поправляться на глазах. Но повару этого казалось недостаточно.

— Ешь еще, — говорил он, — а то мать вернется, скажет мне, что же это ты, повар, не мог ребенка подправить? Стыдно мне будет.

И мальчик покорно съедал вторую тарелку щей.

Однажды Люся сообщила нам, что у Рыжика нашлась мать. Они теперь в деревне живут. Наши бойцы им крышу поправили и печку переложили.

На прощальном концерте в этой части я, разглядывая из-за

кулис публику, увидела Семена Семеновича с его любимцем на руках, а рядом молодую женщину в штатском. Повар часто нагибался к ней, что-то объясняя. Он был тщательно выбрит и выглядел помолодевшим. Взглянув внимательно на рыженькую женщину и мальчика, я сразу поняла, что эго была мать Рыжика, в возвращении которой сын никогда не сомневался.

После концерта наш зритель не расходился. Все перешли к машине и окружили ее плотным кольцом. Шинели, шинели, шинели...

Вот полковник Семенов, который так любил катать нас с ветерком... Вот завклубом, который к нашему приезду сделал на занавесе эмблему нашего театра — чайку. Вот хирургическая сестра, удочерившая Люсю. И Семен Семенович с уснувшим Рыжиком на руках, а под руку по-хозяйски его держит рыженькая женщина... Мне кажется, что у него уже не такое мрачное выражение лица, что на нем особенно чистый подворотничок, и что он уже не будет хвастать, что он не пишет и не получает писем.

Я ПОМНЮ ВАС, ФРАУ КВИТМАН

Здравствуйте, милая фрау Квитман! Мне передали ваш привет, и я спешу вам сказать, что помню вас и вспоминаю очень часто. И думается, никогда не забуду лето сорок пятого года, когда я приехала к мужу в отпуск в маленькую квартиру на Линден-аллее.

Вы тогда мне очень строгой показались, фрау Квитман, я даже боялась вас немного, и к тому же стеснялась, что плохо знаю немецкий язык.

Помню, как в первый вечер, что я приехала, муж ушел на ночное дежурство, сказав, что придет утром, к завтраку. Уложив сына, я стала осматривать квартиру, и меня поразило ощущение необжитости, ощущение, что в этих комнатах никто не живет: в пепельнице не было пепла, хотя муж курит, в ящике с обувью не валялись носки или старая обувь. Красивые стенные часы стояли, показывая полночь, в чернильном приборе не было чернил, в вазах — цветов.

Я долго не могла заснуть в большой двуспальной кровати на новых, нестиранных простынях. Я слышала, как где-то пробило два и как вы запирали на цепочку дверь.

Утром я возилась в кухне, чтобы к приходу мужа приготовить завтрак такой, какой он любит. Вы помогали мне, но вид у вас был такой недовольный, будто вы совсем не одобряете моих стараний. Когда все было готово, я села на балконе, чтобы увидеть мужа, когда он войдет в переулок, но время шло, а он не появлялся. Потом на балкон вышли вы и, глядя куда-то в сторону, сказали: «Капитан Смирнов телефонировал, что он задерживается» — и, резко повернувшись, ушли в комнату, — и хорошо сделали, потому что не увидели моего растерянного лица. Странно было, что муж не позвал к телефону меня.

Я упрямо отгоняла недобрые мысли. В три часа у подъезда остановилась машина, из нее вышли муж и женщина в военной форме с букетом гладиолусов. Она показалась мне очень красивой. Проводив ее в соседний флигель, муж, не взглянув на наш балкон, медленно вошел в подъезд.

Мы обедали молча. Болтал только сын. Но и он постепенно стих. После обеда муж сказал: «Я должен идти, у меня совещание, приду поздно».

Он пришел в два часа ночи. Я слышала, как он открывал английским ключом дверь, как снял в передней сапоги и прошел в ванную. Потом он вошел в кабинет, зажег свет и закурил.

Прошел час. Тогда я, надев халат, вышла из спальни и помогла ему сказать, что он любит другую женщину.

Смешные существа мужчины, фрау Квитман. Они двигают науку, воюют, молчат под пытками... а вот сказать жене: «Я разлюбил тебя» — боятся! Хотя, наверное, это тоже не просто. Муж рассказал мне, что встретился на фронте с женщиной, с которой еще учился и дружил в школе, и я как-то сразу поняла, что это необратимо и что он любит женщину, которая была его первой любовью, которая прошла с ним войну и которая гораздо красивее меня. Не будем очень строги к людям, фрау Квитман, — жизнь есть жизнь.

Внешне мы сохраняли форму благополучной супружеской жизни: вместе завтракали и обедали, иногда даже ходили гулять. Вы никогда не видели меня заплаканной, и я действительно не плакала, но ничего не могла делать: ни читать, ни шить, у меня все валилось из рук.

Помните, фрау Квитман, как вы попросили меня заниматься с вами русским языком. Меня это очень обрадовало: уроки отвлекали меня от дум.

Раз во время занятий вы обратили мое внимание на картинку в учебнике, где кудрявый мальчишка удирал от плачущей девочки.

Показывая на мальчишку вы сказали: «Капитан Смирнов, дас Мэдхен — фрау Смирнова».

Действительно, кудрявый мальчишка был чем-то похож на мужа, а вы, показывая пальцем на ревущую девочку, повторяли: «Гут, гут...» Я не понимала.

Тогда вы нашли в словаре слово «слезы», и я поняла, что вы знаете все и тревожитесь, что я не плачу.

Будто кто-то толкнул меня в спину, и я, уткнувшись вам в плечо, разревелась, а вы, обняв меня, шептали: «Гут, гут, зер гут».

А ведь правда, что слезы облегчают! И я помню, как первый раз тогда мне стало легче. Мы с вами вечером пили в кухне чай с пресными сухарями, и мне не надо было делать вид, что всё очень хорошо. Вы показывали ваш семейный альбом, а перед сном, подсев ко мне на кровать, со словарем в руках объяснили, что есть такой замечательный доктор, его зовут Время. Он залечивает все раны, надо только иметь терпение и что фрау, которую любит капитан Смирнов, совсем не так уж красива...

С этого вечера мы стали почти неразлучны. Вы брали меня с собой в магазин, на рынок и пытались учить вязать.

Когда мы шли с вами по улицам, от которых остались только названия да два-три полуразрушенных дома, вы доставали небольшой альбом с видами Берлина и показывали мне, какой

была эта улица до войны, и по лицу у вас текли слезы.

Наконец настал день моего отъезда. В пять часов утра вы проводили нас на аэродром. Казалось, насмерть раненный Берлин еще спал, но по отстроенным магазинчикам, клумбам с уже посаженными цветами, разбитым на зияющих пустырях, и по спокойному дыханию спящего города было ясно, что он выздоровеет — нужно только время, время и труд.

На аэродроме, в ожидании посадки, вы нарисовали зонтиком на песке много сердец, написав: «Французское, русское, японское...» Потом, проткнув все сердца кончиком зонта, сказали: «Всем больно одинаково».

Разве это можно забыть?

И знаете, фрау Квитман, что я говорю, когда кому-нибудь из моих друзей тяжело? Я говорю им: «Потерпи, есть такой доктор — его зовут Время. Он тебя вылечит, надо только иметь терпение, — и добавляю: — Это мне сказала одна хорошая женщина, она живет в Берлине, ее зовут фрау Квитман...»

ТРИ СЕСТРЫ

На первое отделение в консерваторию я опоздала.

Сидя на диванчике в фойе, я обратила внимание на двух, тоже опоздавших женщин, которые медленно прохаживались по коридору. Одна — высокая, стройная. Ее красивое лицо с левой стороны было изуродовано глубоким шрамом. Вторая была небольшого роста, беременна и, тяжело опираясь на руку подруги, шла, осторожно ступая маленькими ножками в лакированных лодочках. Маленького роста, очень женственная, она чем-то была похожа на жену Андрея Болконского из «Войны и мира». Такая же приподнятая верхняя губа и кроткий, вопросительный взгляд.

В антракте я нашла свое место и села, все думая об этих женщинах. Мне казалось, что я их знаю.

Началось второе отделение концерта, и седьмая симфония Шостаковича помогла моей памяти.., и две женщины, помолодевшие на десять лет, улыбнулись мне знакомой улыбкой. Только тогда они были в пилотках. Солдатские ремни перетянули девичьи талии. Только тогда их было трое... «три сестры» — как их звали в полку...

...В 1943 году с концертной бригадой Художественного театра мы приехали в часть, стоявшую под городом Яссы. Палатки, в которые нас поместили, стояли в цветущем вишневом саду, и, конечно, сразу вспомнился Антон Павлович, его «Вишневый сад», Аня, Гаев... И мы решили устроить в этом саду утренний концерт, посвященный Антону Павловичу Чехову. После этого концерта к нам пришли «три сестры» — Маша, Ирина и Ольга — только не Прозоровы...

«Мы временно в столовой работаем,— объяснили они,— на аэродроме. Это далеко отсюда. Начальник нас никак на концерт не отпускает, мы вырвались на часик к вам, хоть платья ваши посмотреть, так давно штатского платья не видели, прямо забыли, какие они есть!»

Старшей, Ирине, было двадцать три года. Она воспитанница детского дома в Ленинграде. Ольга, как и Ольга чеховская, — учительница. Эта рыженькая девушка недавно была ранена осколком в левую часть лица — глаз спасли, а щека осталась сильно изуродованной. Она из Бреста, где от первых налетов погибли все ее близкие. У младшей, Маши, были брови домиком и веселые детские глаза. Подружившись с Ириной и Ольгой, она немедленно написала своим родным в Москву, что после войны

вернется домой с двумя сестричками. И девушки уже получили от стариков торжественное приглашение.

— А знаете, какие мои родители вредные, — болтала Маша, — они уже им письма пишут и жалуются на меня, что я мало пишу.

— А скажите, пожалуйста, как на сцене настоящими слезами плачут, луковицу к глазам незаметно подносят, да?

— Она у нас артисткой мечтает быть,— сказала Ирина,— только она не сможет, она очень смешливая...

— А когда после войны мы разыщем вас, вы нас вспомните?

— Конечно, вспомним. Да мы после войны не раз с вами встретимся, и обязательно вас на «Три сестры» пригласим...

— Так все говорят на войне: встретимся, встретимся... — задумчиво сказала Ирина. — А может, и вправду встретимся...

Вечером мы просили генерала отпустить девушек с аэродрома на концерт, но он сказал, что это невозможно, так как утром аэродром переезжает на новое место. А утром солдат принес нам завернутый в марлю букет полевых цветов и записку. Она цела у меня до сих пор:

«Дорогие артистки! Нам так и не удалось посмотреть ваш концерт, но зато мы познакомились с вами лично. Вам не понять, что значит для военных посидеть вечерок со штатскими. А мы так хорошо у вас посидели... Мы этот вечер никогда не забудем. С фронтовым приветом...»

Это было на подступах к Яссам. При нас началось новое стремительное наступление. Мы едва поспевали за своими зрителями.

А через месяц, когда мы возвращались в Москву опять через Яссы, что-то испортилось в машине. Дожидаясь, пока водитель исправит повреждение, мы вышли поразмяться и увидели у дороги небольшой холм, у изголовья был вбит столбик с красной фанерной звездочкой и с надписью: «Младший сержант Ирина Васильева».

Концерт кончился, и в раздевалке я лицом к лицу столкнулась с фронтовыми подругами.

— Мы думали, вы нас не узнали...

— Сначала не узнала, а когда села, вспомнила...

— А Олечка вышла замуж за моего брата, мы теперь настоящие родственницы.

— Вам налево? Я вас провожу.

Крепко взявшись под руки, мы шагаем по вечерней Москве, рассказывая друг другу о себе.

Но я все время вспоминала слова Ирины: «Встретимся, встретимся, — а может, и вправду встретимся...»

АРТИСТКА

В первые послевоенные годы судьба забросила меня в Воронеж, я остановилась в Доме колхозника на первом этаже. Мои окна выходили во двор, где была конюшня. Засыпала я и просыпалась под страшную брань возчика, который или запрягал или распрягал свою лошадь. Кроме обычных слов, которые говорят мужчины, когда недовольны лошадьми, он называл ее «фефела», «мымра» и «артистка». Так как монологи эти я слушала по два раза в день, в конце концов, не выдержала, вышла во двор и познакомилась с возчиком.

— За что вы ее так? — спросила я.

— А как же, — ответил он. — Артистка и есть. Работать не любит. Она только может на месте ногами перебирать. Скажите мне, пожалуйста, что она делала до войны?

— Не знаю, — ответила я.

— И я не знаю, но только она не работала. Смотрите, у нее от упряжки на спине и на животе болячки. Они гноятся и не заживают. Поэтому она терпеть не может, чтоб ее запрягали, от ругани она морду воротит в сторону, стало быть, она к этому непривычная...

— Я тоже не люблю, когда ругаются.

— Ну, так вы артистка, а она лошадь. Улавливаете разницу? Я взглянула на лошадь. Лошадь как лошадь, худая только очень, как все мы после войны.

В субботу, сговорившись с возчиком, что вечером он отвезет меня на вокзал, я зашла в цирк. Цирк оживал, готовился к открытию первой послевоенной программы. Репетиции задерживались потому, что музыканты ждали, когда привезут из хранилища контрабасы, и привез их на телеге и въехал прямо в цирк мой знакомый возчик. Сидевший рядом со мной дирижер, взглянув на лошадь, вдруг сказал:

— Неужели это наша Стелла?

— Какая Стелла? — спросил скрипач.

— Ты не знаешь. У нас до войны была наездница наша воронежская, она еще не вернулась из эвакуации. Лошадей своих она бросила, не до того было. А главная у нее была лошадка — Стелла, вот эта лошадь похожа на нее...

— Это надо узнать, — сказала я.

— Да ее не спросишь. А впрочем, попробуем... распрягай! — крикнул дирижер возчику. А сам притащил откуда-то толстую пачку нот, разыскал в ней тот вальс, под который чаще всего

работала наездница.

Тем временем лошадь, освободившись от упряжки, беспокойно затопталась на месте, а потом подошла и встала в проход на манеж. Встала и окаменела. Если бы не ноздри, которые дрожали, жадно втягивая воздух, можно было бы подумать, что это изваяние.

Дирижер, не спуская глаз с лошади, поднял палочку. Музыканты заиграли. Боже мой, что сделалось с лошадью. Будто бы ток прошел у нее по спине. Секунду она стояла, не двигаясь, а затем, выждав такт, наклонив голову, ритмично пошла по кругу. Она шла, не поднимая глаз, осторожно, как по льду, наверное, ей казалось, что это сон...

Музыканты плакали. Второй тур музыканты стали играть в мажоре, а лошадь, все вспомнив, гарцевала, она делала какие-то восьмерки, пируэты и реверансы. К концу вальса она, встав сначала на одно колено, а потом на другое, раскланивалась пустым стульям.

Она представляла себе и публику, и аплодисменты — она была актриса!

Вечером я услышала в открытое окно, как возчик въехал во двор.

Осторожно, стараясь не причинить лошади боли, возчик распрягал ее, а потом тщательно расчесывал ей гриву и хвост, о чем-то разговаривая с ней. Я вышла во двор.

— Артистка! — крикнул он мне радостно. — Как вы! Я ж говорил вам — война... А к примеру вам сказать, я не возчик, я ж наборщик. А как мне в последний год войны осколком глаз выбило, я пока вот сюда пристроился. Сегодня отвезу вас на вокзал и дам Стеллочке два выходных, пусть отдохнет. Я мазь достал у ветеринара, залечу ей все ссадины, все раны, и как вернется ее хозяйка, я сам отвезу ее и сдам в лучшем виде. Я, может быть, еще билетик куплю в цирк, сяду в первый ряд и похлопаю ей. Узнает она меня?

— Узнает, — сказала я, — непременно узнает.

Я подала Стелле сахар на ладони. Теплыми губами, осторожно она стала вбирать кусок за куском.

— Я пойду пешком, — сказала я ей, — отдыхай. Я в эвакуации тоже работала не по специальности, все обойдется, потерпи.

Лошадь не спускала с меня глаз, втягивая, может быть, знакомый ей запах духов...

У калитки я обернулась. Повернув а мою сторону свою красивую голову, Стелла смотрела мне вслед. Мне показалось, что она улыбнулась.

ПЯТНАДЦАТЬ ЛЕТ СПУСТЯ

Поезд замедлил ход.

— Вот и наш Минск, — сказал молодой морячок, мой сосед по купе. — Вы в нем не бывали?

Я вглядывалась в незнакомое мне очертание вокзала.

— Нет бывала...

Тогда была моя первая гастрольная поездка, был год моему сыну, был июнь сорок первого года...

В тот приезд меня встретили на вокзале родственники и повезли прямо к себе, на улицу Володарского, где в небольшом домике с балконом была уютная квартира известного в Минске профессора Клумова.

Тетя и дядя не знали, куда посадить любимую племянницу — артистку Художественного театра. Они пошли на первый же спектакль «Школы злословия». Из женщин им больше всего понравилась Андровская и... племянница.

Правда, племянница говорила только: «Кушать подано», но зато как она это говорила! После спектакля за ужином было решено накупить билеты на все спектакли, а завтра днем поехать на открытие искусственного озера — гордость минчан.

На другое утро я проснулась рано. Надев халат, услышала странный, ни на что не похожий звук и вышла на балкон. Далеко, в ясном голубом небе реяли самолеты. От них что-то отделялось.

...Нет, я не верила, что это война, что так вдруг может измениться вся наша жизнь Но очень скоро в городе появились беженцы из Бреста, на Минск упали первые бомбы, вспыхивали пожары, рушились дома...

Неизвестно для кого и для чего мы играли спектакли при почти пустом зрительном зале, прерываемые воздушными тревогами.

На третьем спектакле в зале было только два пожарника. Город бомбили неистово. Мы, не доиграв спектакля, решили добраться до гостиницы, и через час после нашего ухода в театр попала фугаска. Нас эвакуировали на грузовике без вещей. Тетя и дядя пришли со мной проститься.

Глядя на бледную, сразу изменившуюся Андровскую, дядя шепнул мне: «Она всегда очаровательна! Как жаль, что я не во всех спектаклях ее видел. Но еще посмотрю!»

Грузовик мчался через горевший город. Из разбитой витрины дамского ателье нам улыбалась восковая кукла.

Вывезя нас на шоссе Минск — Москва, водитель сказал, что

дальше не поедет. Мы добирались до Москвы, в сущности, пешком, иногда нас кто-то подвозил, но больше всего мы шли, а навстречу нам двигались войска на колесах, на гусеницах, на лошадях. По обочине шли люди, старики, дети, растерянные, нелепо одетые, — шли куда глаза глядят, лишь бы уйти от этого ада.

Иногда встречные узнавали народного артиста Москвина, шагающего с палочкой, как горьковский Лука, и предлагали довезти его на легковой машине до Можайска.

— Я не один, — отвечал Иван Михайлович, и мы шли дальше.

Он брился каждый день, разложив в лесу на пенечке бритвенный прибор. Лидия Михайловна Коренева заботливо наливала ему из термоса в стаканчик горячей воды.

Мы сели на поезд в Можайске...

И вот сейчас опять поезд замедляет ход у Минска. Это уже далеко не первая моя гастрольная поездка, моему сыну уже пятнадцать лет, и я не вглядываюсь в толпу встречающих, чтобы найти своего дядю...

Я брожу по красивому неузнаваемому городу, выхожу на улицу Володарского. На месте маленького дома с балконом стоит новое шестиэтажное здание. Я вглядываюсь в эту улицу, как в лицо знакомого мне человека, в котором не могу узнать ни одной черты.

Вечером мы едем в театр, в тот самый театр Красной Армии, где сгорели все наши декорации и костюмы.

Перед началом спектакля с приветственным словом к Художественному театру выступает представитель города. Мы, уже загримированные, одетые в бальные платья великосветского лондонского общества, слушаем речь:

«...только что начавшиеся гастроли в 1941 году были трагически прерваны, и мы расстались с мхатовцами на пятнадцать лет...»

Я смотрю на Андровскую, затянутую в черное платье, и вспоминаю слова дяди: «Она всегда очаровательна».

«...Минск счастлив снова увидеть МХАТ у себя и радоваться вашему искусству».

Аплодисменты.

Медленно раскрывается занавес, и по белой парадной лестнице неторопливо спускается светская львица. Притихший зал вглядывается в располневшую, но всегда изящную фигуру, затянутую в черное, а затем радостная буря аплодисментов задерживает начало спектакля на несколько минут.

Андровскую нельзя выбить из образа: миссис Чивли спокойно продолжает свой путь, окидывая презрительным взглядом

лондонское общество. Только мне, стоявшей совсем близко от нее, видно, как из-под надменно опущенных ресниц, на щеку, покрытую лейхнеровским гримом, скатилась настоящая слеза.

ГОЛУБИ

Когда я вижу мальчишек, мастерящих голубятни, или малышей, бросающих голубям крошки, я каждый раз вспоминаю маленький фронтовой эпизод...

...Моросил холодный осенний дождь. Мы ехали по шоссе. Справа от нас был лес. Впереди виднелся силуэт только что отбитого у немцев города. Водитель остановил машину, чтобы набрать в канаве воды. И тут мы увидели вышедшую из леса группу людей. По мере их приближения мы поняли, что это были дети, которые тащили небольшую тележку. С ними были две собаки, коза.

Выйдя на шоссе впереди нас, ребята стали что-то вытаскивать из корзинки. Затем двое мальчишек встали рядом с поднятыми вверх руками. И по команде выпустили голубей. Сначала птицы нерешительно кружились над детьми, но те подняли такой свист и улюлюканье, что пернатые стали набирать высоту и полетели к разрушенному городу...

...Каждый раз, когда я вижу мальчишек, мастерящих что-то голубям, я вспоминаю хмурое военное утро, силуэт разрушенного города и продрогших ребятишек, выпускающих навстречу солнцу своих вестников мира.

«ВИХРИ СНЕЖНЫЕ КРУТЯ»

В колхоз «Первое мая» наша концертная бригада приехала уже вечером — нас разместили по частным квартирам, так как дома для приезжих не было Возчик, дядя Митрич, подвез меня к маленькому белому, как снег, домику.

— Хозяйку твою, — сказал он. — Васильевной звать, — женщина она степенная и душевная, небось уж и самовар раздула и ужин тебе состряпала.

Мы вошли в дом. Пахнуло теплом и чистотой, и Васильевна хлопотала у плиты. В первой комнате самое большое место занимала выбеленная русская печь, а во второй — двуспальная кровать с кисейным пологом. На стене — большое зеркало, по бокам которого портреты Ленина, протоиерея Колчицкого и Чапаева.

Я распростилась с Митричем и стала раздеваться. Хлопоча по хозяйству, Васильевна рассказала мне, что муж у нее давно умер от тифа, а сын убит в войну, и чтобы было ей не так одиноко, она взяла к себе жить молоденькую учительницу из Воронежа, и теперь они живут, как родные, что артисты к «нам ездиют редко» и билеты все на наши концерты уже давно розданы, а одна девушка потеряла билет. Теперь она третий день ревет, а доказать не может...

Я сидела с Васильевной в теплой кухне за пузатым самоваром, на дворе завывала вьюга, и мне совсем не хотелось идти на концерт. А через час в сенях раздался стук, и на пороге опять появился Митрич с тулупом в руках. Он сказал: «Всех артистов велено свозить в клуб, — хоть и близко, а в метель застудиться можно. Влезай, артистка, в тулуп».

— Господи, — вздыхала Васильевна, глядя, как я одеваюсь, — хороший хозяин собаку не выгонит, а артистам выступать велят.

Метель действительно была страшная, лошадь еле передвигалась, утопая в снегу. Подъехав к клубу, Митрич, помогая мне вылезти из саней, сказал: «А лучше Пушкина писателя нет».

Я удивленно посмотрела на Митрича.

— «Вихри снежные крутя» — помнишь? Кто ж так еще скажет? Клуб натопили так, что нечем было дышать. Раздевалки для зрителей не было, все сняли шубы и, положив их под себя, восседали как на тронах.

После концерта нас опять развозили по квартирам в тулупах — но вьюга уже утихла, и показавшаяся луна освещала

заснеженную деревню. Васильевна встретила так, будто я чудом вернулась живая домой. Она опять хлопотала с ужином и грела воду помыться. Опять шумел самовар, было уютно, как дома.

Учительнице Марье Федоровне шел двадцать второй год. Это была маленькая серьезная женщина с большим пучком пепельных волос. Она пришла после концерта чуть позднее меня.

Мне предназначалось лечь спать на двуспальной кровати под кисейным пологом. Я попросилась было у Васильевны на какое-нибудь более скромное ложе, но обе женщины так запротестовали, что пришлось покориться. Марья Федоровна постелила себе постель на лежанке около печки. После ужина Васильевна вымыла посуду, поправила лампадку и ушла на кухню. Мы стали укладываться.

— Вы не спите? — тихо спросила учительница. — Мне очень надо с вами посоветоваться.

Я отодвинула полог. Марья Федоровна сидела в ночной рубашке, обхватив руками колени. Толстая коса спустилась на плечо. Учительница рассказала мне, что в ее классе нет плохих учеников, только «хорошисты» и отличники, что перед приездом артистов в ожидании концерта все ребята подтянулись, и она обещала вместе с ними пойти на концерт. Но так как в клубе мало мест, то билеты решили раздать только взрослым, У детей, мол, еще все впереди, они еще успеют!

— Что же мне теперь делать? Мои ребята места себе не находят.

Я посоветовала Марье Федоровне пойти утром к нашему бригадиру и попросить устроить хоть один детский утренник.

— Я и ребят с собой возьму, — обрадовалась Марья Федоровна, — они лучше меня скажут.

Она успокоилась и повеселела. Мы разговаривали о школе, о ребятишках. У Марьи Федоровны, оказывается, была возможность после окончания педагогического техникума остаться в Воронеже.

— Но я считаю, — говорила она, — что педагог должен стараться уехать работать, как можно дальше. Ведь чем дальше, тем учитель нужнее. Правда? Мне очень тут скучно. А все-таки я знаю, что приношу тут пользу, а ребятки у меня прелесть. А вы стихи пишете? — неожиданно спросила она.

— Да, — соврала я.

— А вот как, по-вашему, хорошие у нас фильмы о колхозной жизни, правдивые?

Я смотрю на молодую учительницу и думаю: «Нет... так правдиво тебя еще никто не сыграл».

Утром, когда я проснулась, Марьи Федоровны уже не было дома. Васильевна растапливала печь.

— Ваш бригадир заходил. Надо всем в клубе быть в двенадцать часов дня... Для деей концерт играть будете. Тебе яички в мешочек или всмятку?

За сорок дней, прожитых в колхозах, мы дали пятьдесят концертов. Сорок дней мы не знали никакого другого транспорта, кроме лошадей. Не современный, но очень удобный и приятный способ передвижения: не слышали ни гудков, ни свистков, ни звонков. Жили в избах, ходили в валенках, дышали свежим воздухом и знакомились с простыми, хорошими людьми.

После прощального концерта и ужина мы вполпьяна усаживаемся в санки, чтобы совершить последний санный путь до железнодорожной станции. Колхозники стоят около наших саней и дают последние наставления возчикам: «Не переверните артистов в снег и усадите в вагон в лучшем виде».

— А что, — говорит кто-то из колхозников, — будет такое время, когда мы сможем вот так всем селом махнуть в Москву на какой-нибудь спектакль или концерт?

— Это надо всем селом брать два выходных, — возражает председатель, — а тут тебя другой колхоз и обгонит... А вот если бы Москва от каждого своего театра хоть по два артиста в месяц к нам присылала, неужто уж вся их культура остановилась бы? Похлопочите там…

— И для детей концерты нужны, — слышу я голос учительницы. До свидания, колхозники Каменной степи! До свидания, Марья Федоровна, Васильевна, дядя Митрич, Вася, Оля, тетя Варя, мы передадим ваш наказ Москве!

«СТЕПЬ ДА СТЕПЬ КРУГОМ...»

Мы приехали с концертной бригадой на целину в самое горячее время уборки, и вдруг начались дожди, дороги размыло. Мы еле двигались на своем грузовике, постоянно вылезая, чтобы вытащить машину. Мы отлично понимали, как некстати были эти дожди. Настроение у всех изменилось. Даже наш веселый водитель, который не уставал развлекать нас анекдотами из жизни сумасшедших, умолк.

Однажды после дневного выступления в сельском клубе мы под нудным моросящим дождем ехали на второй концерт в совхоз, который находится на другой стороне реки Ишим. Времени до выступления оставалось в обрез, но, подъехав к переправе, мы увидели огромное количество машин, ожидавших своей очереди стать на паром. Было ясно, что если мы станем в очередь, то начнем концерт с большим опозданием. Наш бригадир бодро зашагал на паром в полной уверенности, что, как только паромщик узнает, что в машине артисты, — нас немедленно пропустят без очереди. Но паромщик, не скупясь на выражения, объяснил, что перевозка зерна сейчас важнее концерта, что он только что пропустил «скорую помощь» и исключение артистам он делать не будет.

Мы понимали, что он был прав, и стали покорно ждать своей очереди. Вдруг наш аккордеонист молча вынул из футляра инструмент и, слегка пробежав по клавишам замерзшими пальцами, заиграл любимую всеми песню: «Степь да степь кругом...»

Потом так же молча встал Иван Суржиков и, поплотнее запахнувшись в свой плащ, прислонившись к кузову, вполголоса запел:

В той степи глухой
Замерзал ямщик.

И как будто ничего не изменилось, только чуть все повернулись в нашу сторону...

Ты, товарищ мой,
Не попомни зла,
В той степи глухой
Схорони меня.

Я вижу, что к нашему грузовику начинают стягиваться люди с других машин. Они стоят молча. Они слушают. Кто разгладил эти усталые, недовольные ожиданием лица? Задумчивые, серьезные, они влюбленно смотрят на певца.

Я уверена, что ни на одном концерте Суржиков не пел так, как в тот осенний вечер под моросящим дождем, без зрительного зала, сцены и света рампы. Впрочем, свет был, но иной, Тот свет, который нельзя включить, свет, ведомый только артистам, которым дано вдохновение.

И такая тишина опустилась на берег... Казалось, и дождь стал идти тише, и ветер замер, и река будто прислушивается. А паромщик одними жестами показывает водителям, как встать машинам на паром. И даже огромные груженые машины будто встали на цыпочки, чтобы «не спугнуть песню...»

ЖЕНЩИНА ВСЕГДА ДОЛЖНА БЫТЬ ЖЕНЩИНОЙ

На гастролях в Риге я пошла в Дом моделей на демонстрацию летних мод.

Манекенщицы были одна лучше другой, и поэтому им шли платья всех фасонов, даже с одним рукавом.

Напротив меня сидела девушка, которая, как мне показалось, попала сюда так же, как и я, случайно... Она была одета в какую-то форму. И чем больше я на нее смотрела, тем больше она мне нравилась. Ее большой лоб не был закрыт модной челкой, над карими глазами раскинулись невыщипанные брови. Возможно, для того, чтобы быть эффектной, этой девушке только чуть не хватало косметики.

Под конец сеанса туалеты демонстрировали дети. И первая девочка лет шести, упоенная своим воздушным платьем, стала раскланиваться. Публика «рассмеялась, и я, взглянув на свою визави, сначала даже не узнала ее. Боже, как улыбка красит лицо! Всего лишь одна улыбка сделала ее красавицей.

В этот же вечер в лифте гостиницы я встретилась с этой женщиной. Мы познакомились, и вечером она сидела у меня.

— Понравились вам манекенщицы? — спросила Женя.

— Очень. Прямо королевы.

Она посмотрела на меня очень пристально и сказала серьезно:

— Я тоже была один раз королевой. Только не за зарплату, как они, И окружали меня одни мужчины. Не верите? — И она достала из сумочки пакет с фотографиями.

Я не взяла пакет, а усевшись поудобнее, сказала:

— Рассказывайте!

Женя Алексеева—мурманчанка, окончила медицинский факультет. Она уже врач и второй год плавает на рыболовном траулере.

— Когда я пошла первый раз в море, мама положила мне в чемодан нарядное платье, туфли-гвоздики и сказала: «Женечка, женщина не должна забывать, что она женщина...» Я посмеялась, но, чтобы не огорчать маму, взяла вещи.

На корабле я хожу как матрос. Одежда моя простая, грубая: роба, сапоги, и мне там совсем не нужны мои гвоздики и прически. Однажды ночью стучат ко мне в дверь и говорят: «Капитан просит врача на палубу».

Я, одевшись, быстро поднялась наверх. Капитан сказал: «Женя, видишь, вон то судно. Это норвежцы. Там у меня знакомый капитан. Они тринадцатый месяц в море, даже к берегу не подходили. Ты встань на мостик, они хотят на женщину посмотреть».

Я поднялась на мостик, а капитан разговаривал с норвежским капитаном по сигналке.

— Женя, — сказал он мне.— Они не верят, что ты женщина. Надень женское платье. Очень тебя прошу.

Я спустилась в свою каюту, достала уложенное мамой платье, включила утюг, погладила его, хорошо причесалась, надела туфельки и опять поднялась наверх

Окинув меня одобряющим взглядом, капитан сказал:

— Доктор Женя! За вами приехал катер, я отпускаю вас к норвежцам в гости на 30 минут.

— Я одна не поеду, — сказала я.

— Не валяй дурака. Они такие же матросы, как и мы. Все будет хорошо.

Я спустилась по трапу в своих туфельках на гвоздиках, взмахнули весла, и вот — я уже сижу в кают-компании норвежского судна «Ингеборг». За тридцать минут, что я одевалась, они тоже приготовились. В кают-компании горят свечи, на белоснежной скатерти некрыт легкий завтрак, мягко играет радиола. Заиграл вальс. Я поняла, что если я с каждым буду танцевать вальс, то мне никакого времени не хватит. Я сделала с одним моряком тур и как бы передала себя другому. Они поняли эту игру и выстроились по кругу.

В дверях кают-компании было зеркало, и я, увидев в нем себя, поставила себе пятерку.

А потом раздался гудок с моего тральника — мы стали прощаться. На прощанье я старалась каждому сказать что-нибудь приятное. Кто-то накинул мне на плечи китель, я спустилась по трапу. С судна «Ингеборг» раздавалась песня «Подмосковные вечера».

Я не знала, что они меня снимали, а вот совсем недавно прислали нашему капитану эти фотографии.

Я раскрыла конверт. Да, она действительно походила на русскую королеву. Открытое милое лицо, аккуратная головка с туго завязанным пучком светлых волос, скромное женственное платье и — улыбка: веселая и чуть-чуть застенчивая.

Я вспомнила манекенщиц из Дома моделей — бесспорно они все были и красивы и эффектны. Но и походка их, и позы не показались мне естественными. А в докторе Жене с морского траулера была и врожденная грация, и женственность, а главное,

она была очень естественной.

— Теперь я частенько заглядываю в модные журналы, — закончила свой рассказ Женя. — При случае заглядываю и в Дом моделей — и сама кладу в чемодан модное платье. Женщина всегда должна быть женщиной!.. — и улыбнулась.

ПАРИЖАНКА

Однажды в Свердловске я, проходя через фойе филармонии, обратила внимание на немолодую женщину, которая, разговаривая с билетершей, чему-то заразительно смеялась. В ее лице и смехе было столько обаяния, что я спросила свою спутницу:

— Вы не знаете, кто это?

— Знаю, — ответила она. — После концерта расскажу. После концерта она рассказала.

Тридцать пять лет назад в Париже блестяще окончила консерваторию по классу фортепьяно единственная дочь состоятельных родителей — Вероника Латар. Весной она должна была ехать в свое первое гастрольное турне, когда судьба столкнула ее с человеком, в которого она влюбилась так, как мы влюбляемся только один раз в жизни. Но он был не парижанин, а иностранец — он был москвич и должен был вскоре вернуться в Союз. Но москвич тоже полюбил! Он понимал всю сложность их брака, он говорил ей, что она должна будет покинуть Францию, принять советское подданство, что ей надо будет привыкать к чужой стране, о ее родителях, которые были против их брака. Парижанка улыбалась.

— Моя прабабка Камилла Ледантю, приехав в Петербург, влюбилась в вашего декабриста, и потом она уехала за ним на каторгу, — это всегда бывает очень далеко... А я еду с вами в Москву. Да, я 22 года прожила в Париже, но все остальные долгие годы я буду жить с вами в России и полюблю ее, как полюбила вас...

Любовь увезла их в Москву.

Прошло восемнадцать лет. Однажды в вестибюль Свердловской консерватории вошла немолодая женщина в валенках, в ватнике и молча села на подоконник.

Из всех классов раздавались звуки, бегали взад-вперед студенты.

А женщина сидела, и к ней никто не подходил. Занятия окончились, консерватория опустела.

Старик сторож поглядывал на незнакомку, не зная, как с ней поступить, но женщина, будто угадав его сомнения, сама обратилась к старику:

— Я бы хотела вас просить, если только это возможно, разрешите мне войти в класс, где есть рояль...

И старик разрешил, хотя это было вопреки правилам. Он

впустил ее в класс на втором этаже и ушел, плотно закрыв дверь.

В подшитых валенках, бесшумно обходя классы, он изредка заглядывал в замочную скважину. Женщина сидела на стуле около батареи и смотрела на рояль. Рано утром, любезно поблагодарив сторожа, она ушла... Но к вечеру она пришла снова и стала частенько приходить сюда по вечерам, и сторож уже много знал о нелегкой судьбе парижанки. Теперь старик каждый день брал в студенческое буфете лишнюю булочку, заваривал вечером покрепче чай и ждал ее. Она приходила, рассказывала о своих делах с пропиской, работой, пила чай, шутила, а потом шла в класс.

Однажды ночью он услышал звуки рояля, громко раздававшиеся в пустом здании. Сторож встал со стула, перекрестился, и опять сел. Звуки нарастали. Сторожу вспомнилось почему-то детство, когда в деревне на пасху, под звон колоколов, его, полусонного, вели к заутрене; потом вспомнился ледоход: все бежали смотреть, как вода, вырвавшись наружу, с треском ломая лед на мелкие куски, мчалась вперед...

Будто спохватившись, старик побежал в учебную часть и, закрыв за собой дверь, набрал номер телефона директора консерватории.

К телефону долго не подходили, потом сонный голос сказал:

— Слушаю.

— Федор Степанович, это я, сторож Гаврила. Прости меня, старого, приходи сейчас в консерваторию.

— У тебя что, пожар?

— Нет, пожару нету, тут такое дело...

Старик положил трубку и прислушался: она играла. Только бы не перестала, только бы он успел...

Через десять минут, в валенках, а шубе, надетой на пижаму, в консерваторию вошел взволнованный директор. И сразу услышал звуки, бурно и свободно разливавшиеся по пустому зданию... Бетховен, соната № 21.

— Кто это играет? — шепотом спросил он.

Старик шепотом рассказал историю парижанки. Когда музыка кончилась, директор, пригладив волосы и застегнув шубу на все пуговицы, осторожно постучав, открыл дверь: у рояля стояла сияющая женщина. Обняв старика, она, то ли смеясь, то ли плача, сказала: «Могу!»

Вскоре она работала концертмейстером в филармонии.

Года три назад, около Дома Союзов я увидела скромную афишу: вне абонемента — Бетховен. Пианистка Латар-Шевченко.

С ПРЫЖКОМ ИНТЕРЕСНЕЕ

На праздничном концерте в Серпухове я пошла в зал посмотреть велофигуристок Васильевых, которые исполняли новый трюк. По дороге в Серпухов, в автобусе они показали мне фото рабочего момента этого номера. На плечах у сидевшего на велосипеде Володи стоит его партнер Глеб, а на плечах у Глеба, вытянувшись в струнку, — Лида.

— Ну, а в чем же трюк? — спросила я.

Володя, посмотрев на меня так, как смотрят на человека, в умственных способностях которого сомневаются, сказал: «Велосипед едет...»

Я вошла в зал, когда Володя на велосипеде делал круг. Потом на ходу ему на плечи вспрыгнул Глеб, затем на подножке велосипеда оказалась Лида, которая в один миг, как по лестнице, взобралась на спину сначала Володи, затем на плечи Глеба и вытянулась, подняв одну руку. Велосипед стал набирать скорость.

Зал замер. И тут Лида задела головой падугу, висевшую под потолком. От неожиданности она качнулась и потеряла равновесие. Глеб пытался помочь ей вытянуться, но ему не удалось это, и они оба стали медленно валиться назад. Я видела напряженные руки и спину Володи, невероятные усилия всех трех выровнять положение.

И вот, подчиняясь усилиям их воли и мускулов, пирамида стала выпрямляться. Но, выпрямившись, они не смогли удержаться в нужном им положении и теперь стали валиться вперед, и, что самое страшное, — из круга движения...

Тот, кто ездит на велосипеде, знает основной принцип езды: в какую сторону падаешь, в ту и нужно поворачивать руль. Володе повернуть руль было некуда, так как теперь наклон был туда, где была оркестровая яма.

Глеб и Лида медленно и неумолимо падали вперед. Это значит увечье, может быть, даже смерть. Необходимо было сделать так, чтобы они упали не в яму, а на сцену. А дальше произошло следующее.

Володя скомандовал «ап» и, оттолкнувшись от педалей велосипеда, через руль прыгнул в оркестровую яму. Таким образом, Глеб, потеряв плечи, на которых он стоял, очутился на полу, у самой рампы. От неожиданного приземления Глеба Лида, стоявшая у него на плечах, только слегка качнувшись, спрыгнула и встала на самом краю рампы.

Зал ревел от восторга, а Глеб и Лида, улыбаясь публике,

искали глазами Володю. А виновник спасения, очутившись в оркестровой яме, скрылся под сценой и через секунду появился на сцене, раскланиваясь как ни в чем не бывало. Раздалась новая буря аплодисментов и крики «бис».

Под несмолкаемые аплодисменты зрителей трюк был повторен, но, разумеется, без прыжка в оркестр.

Все это произошло в течение двух минут, и даже не все стоящие за кулисами актеры поняли, что произошло, не говоря уже о зрителе.

Те, кто понял, думали: большое счастье, что сейчас около Дома, культуры не стоит «скорая помощь», что жизнь человеческая — копейка, и что профессия акробатов схожа с профессией минеров...

Когда после концерта мы ехали в нашем автобусе в Москву, жена водителя восторженно говорила: «Замечательный сегодня был концерт, только жаль, что Васильев на бис не сделал прыжок в оркестр. С прыжком интереснее!»

ДОКТОР СОБОЛЕВА

У доктора Любови Сергеевны Соболевой на письменном столе, в красивой рамке вместо фотографии написаны старинным русским шрифтом несколько строк из маленькой трагедии Пушкина:

...Есть упоение в бою,
И бездны мрачной на краю,
И в разъяренном океане,
Средь грозных волн и бурной тьмы,
И в Аравийском урагане,
И в дуновении чумы.

Любовь Сергеевна врач-чумнолог. Она работала по борьбе с этой болезнью в разных странах, о чем свидетельствуют разнообразные ордена и медали, которых у нее так много, что они не могут поместиться на одной стороне костюма. Одно из последних ее сражений с чумой произошло в Монголии в августе 1945 года.

В степи, где пастухи перегоняют скот, мальчик-пастушок нашел мертвого тарбагана (это зверек с дорогим мехом) и решил его освежевать.

Вскоре мальчик заболел и умер. Большая семья скотовода-арата Бабу была заражена. Люди умирали. Девятнадцатилетний Наянта понял, что это за болезнь!

Монгольское население знает страшные признаки чумы — «Тарбагун Тахлым». Он вскочил на лошадь и поскакал за помощью в соседний аил. Не слезая с коня, на расстоянии, Наянта прокричал: «В нашем аиле Тарбагун Гахлым!»

И вот поскакали вестники-уртольщики со страшным известием в селение Баин Хангор. Оттуда уже по прямому проводу сообщили в город Дзапхин, где находился советский противочумный отряд, который немедленно двинулся на помощь.

Начальником этого отряда была Любовь Сергеевна Соболева.

На опустевшем стойбище, превратившемся в стан смерти, отряд начал свою работу. Соседние юрты вовремя откочевали и тем спасли себя. Из восьми членов семьи Бабу остались в живых Наянта и трехлетний мальчик.

Врач немедленно приступил к их профилактическому лечению, их изолировали друг от друга. Наянта был уже безнадежен и вскоре умер. По противочумным законам врачу предстояло вскрыть умерших, выделить культуру чумы, сжечь трупы и юрты. В довершение всех бед — исчез малыш. Соболева

нашла его не сразу. Он спал, закрывшись дели, на трупе Наянты. Видимо, он замерз и прокрался к нему, когда Наянта еще пылал в жару.

Все члены отряда были убеждены в неизбежном заболевании ребенка, все, кроме Любови Сергеевны... И она приказывает построить рядом две юрты: для мальчика и для себя. И остается с ребенком в изоляции.

С мальчиком нелегко было справиться. Он был в ужасе от белого чудовища и отчаянно сопротивлялся, когда врач купала его в растворе сулемы или делала уколы. К тому же Соболева не знала его языка и не могла успокоить ребенка.

Она не могла также нарушить противочумный режим и показать ему свое лицо, закрытое маской и очками.

Вскоре мальчик заболел. Картина заболевания напоминала легочную чуму, но Соболева не сдавалась и не прекращала усиленного лечения...

На шестой день мальчику стало лучше.

И с каждым благополучно прошедшим днем в душе врача росла надежда на спасение. Короче говоря, как это ни невероятно, мальчик стал поправляться.

Однажды, когда ему было уже настолько хорошо, что он мог сидеть, доктор у входа в юрту сняла с лица маску. Боже мой! Как обрадовался ребенок, как он хохотал и хлопал в ладоши!

— Я Соболева, — говорила доктор, тыча себе пальцем в грудь. — Я Соболева!

Он смеялся, повторяя ее имя. От Наянты прежде она узнала, что он — Увгун Бургут — «Степной орел».

Так они познакомились.

За все время карантина Любовь Сергеевна держала связь со своим отрядом по своеобразной почте. Метрах в ста от ее юрты лежал огромный камень. Он и стал почтовым ящиком. Любовь Сергеевна клала под камень записки и рецепты, смоченные сулемой. Два раза в день монголы приходили к камню, натыкали на ружья записки и отвозили в отряд, и утром все, что она просила, уже лежало на камне. На этот камень два раза в день ей привозили пищу, лекарства и сладости для малыша.

Когда мальчик стал поправляться, Любовь Сергеевна написала записку с просьбой заказать для Увгуна на ее деньги дели — национальный костюм из светло-синего шелка, желтый шелковый кушак, ичиги и лисью шапку. Ей хотелось, чтобы мальчик, вырвавшийся из лап чумы, предстал перед людьми нарядным и красивым.

Наконец, десятый день настал! Им принесли одежду.

Дарга — начальник Соболева за руку с мальчиком поднялись

на гору, к противочумному отряду. Там их нетерпеливо ожидали: медперсонал, охотники за тарбаганами, араты-уртольщики — всего человек сорок. Монголы сидели полукругом, их лошади стояли сзади.

Соболева с каждым здоровалась по монгольскому обычаю: она клала свои руки на протянутые руки монголов и говорила: «Байэр-ла»... Некоторые целовали край ее одежды. Малыша ласкали и передавали из рук в руки. Все радовались чудесному исцелению мальчика.

Отряд вернулся в Дзапхин. Желающих усыновить мальчика было множество.

В монгольской семье дети — большая ценность, а мальчик, спасенный от чумы, казался символом счастья. Любовь Сергеевна отдала мальчика в бездетную семью товарища Чарга.

3 сентября, в день победы над Японией, во время демонстрации советская колония проходила мимо трибуны, на которой вместе со своим нареченным отцом — секретарем райкома партии товарищем Чаргой, находился Увгун. Мальчик увидел свою Соболеву, которую называл «Кукшин иджи» — «Старая мать» и кубарем скатился с лестницы трибуны. Все уже знали эту историю. Люди расступились, и мальчишка кинулся в объятия Любови Сергеевны, она подняла его на руки, и все окружающие стали хлопать. Многие плакали.

По монгольским законам к фамилии спасенного человека прибавляется фамилия его спасителя, и фамилия маленького Увгуна стала Увгун Бургут-Соболев,

Подвиг Соболевой не был забыт.

К ее первому монгольскому ордену «Полярная звезда», полученному за трехлетнюю противоэпидемическую работу, в 1944 году прибавился еще один — высший орден Монгольской Народной Республики — орден Сухе-Батора.

На торжественном приеме в Монгольском посольстве в Москве 9 января 1964 года, устроенном в честь Любови Сергеевны, присутствовал и ее монгольский сын Увгун Бургут-Соболев — в настоящее время молодой врач, заведующий больницей в Халхин-Голе.